

Лев Нецветаев

СТЕЛА



ЛЕВ НЕЦВЕТАЕВ

СТЕЛА

СТИХИ

УЛЬЯНОВСК
2017

УДК 882-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Н 58

Нецветаев Л.

Н 58 Книга жизни. — Ульяновск: Издательство
«Корпорация технологий продвижения»,
2017. — 264 с.
ISBN 978-5-94655-***-*

Лев Николаевич Нецветаев родился в 1940 году в Ульяновске. Окончил Московский архитектурный институт (где занимался в кружке офорта у Г. Н. Гамана). Член Союза архитекторов СССР с 1967 г. Почётный архитектор России (2002). Участник зональных, республиканских и всесоюзных художественных выставок. Член Союза художников России (с 1995 г.). Лауреат Золотой пушкинской медали творческих союзов России в номинации «Изобразительное искусство» (1999). Доцент кафедры архитектурно-строительного проектирования Ульяновского государственного технического университета (с 2001). Лауреат региональной премии «Шапка Мономаха» и «Человек года» (2014). Автор книги статей «Малоизвестный Врубель» и монографий о творчестве народного художника России А. И. Зыкова и заслуженного архитектора России Д. Ф. Радыгина. Также автор двух поэтических книг: «Симбирская гора» (1999) и «Правда осени» (2010) и учебного пособия «Архитектурный пейзаж». Отдельные статьи печатались в «Литературной газете», газетах «Культура» и «Художник России».

В настоящее время готовит к печати полный каталог произведений М. А. Врубеля (живопись, графика – более 900 наименований).

В книге «Стела» собраны стихи разных лет.

ISBN 978-5-94655-***-*

УДК 882-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Нецветаев Лев Николаевич, 2017
© Издательство «Корпорация технологий
продвижения», 2017

СТЕЛА

Лаконична стела
цезарских времён:
«Не был. Был. Не стало» –
никаких имён.

Среди тьмы вопросов,
поднимавших муть,
эта, как философ,
обнажает суть.

Необъятна вечность,
даль её темна.
Вечность. Бесконечность.
Что там имена?



МЕТЕОРИТ

...То там, то тут огонь и кровь творит
безумный люд в стремлении спесивом.
Давно пора большой метеорит
к Земле направить неподсудным силам.

Нет, я не жажду обратиться в прах;
пусть, не сойдясь, махины откачнутся –
но что, как не животный дикий страх,
поможет человечеству очнуться?

Когда незримой точечкой вдали
возникнет монстр, не знающий пощады –
с какою болью жители Земли
на нём сведут тоскующие взгляды!

Лишь этот нависающий топор,
одно его блистающее жало...
Куда исчезнет всё, что до сих пор
заботило, томило, волновало?

Всё выцветет и потеряет вес:
карьеры, ставки, звания, проценты...
Под этой гильотиною небес
сравниваются бомжи и президенты.

Смешными станут партии, вожди,
различия религий и границы,
аварии, кислотные дожди –
и лишь одно грохочет и стучится:

Вот-вот, и сразу прекратится ВСЁ.
Но как же так? И для чего мы были?
Лишь чтоб попасть под это колесо
и в космосе растаять струйкой пыли?

Неправильно! Не может это быть!
Безумие насквозь пронизает поры.
Останется одно: по-волчьи выть,
завидуя зверям, заползшим в норы.

Когда, одним отчаяньем объят,
столпится обречённый люд планеты,
о, сколько вознесётся жарких клятв
и душераздирающих обетов!

Убийцы, сластолюбцы и вожди
завоют ввысь навстречу страшной тени:
«Спаси, Отец небесный, отведи –
и будем мы святых отцов святее!».

Ни крошки, кроме хлеба и воды!
Ни шага от жены и от семейства!
И наши беззаветные труды
сотрут грехи и прошлые злодеяния!».

Но кто поверит? Я уже сейчас
предвижу: коль минует наказание –
в какой Земля погрузится экстаз
разгульного хмельного ликования!

От пьяных воплей будет каждый дом
дрожать в разгаре блуда и позора;
и бледной тенью вспомнится Содом,
как и его соратница Гоморра.

И уж тогда... Иссякнет в вышине
терпенье, и какая будет кара –
гадать не будем... Явно пострашней
падений Фазтона и Икара!..



Владик Афонченко



Гена Ахматов

КНИГА ЖИЗНИ

Книга, что незримо всё итожит,
каждому с рождения вручена.
В детстве нас нисколько не тревожит
тайная её величина.

Нам нет дела – том или брошюрка,
и гурьбой сигаем в воду ниц.
Владик*, утонуть и в сорок жутко,
но в семнадцать... Дальше нет страниц.

Но ещё страшнее – ждать границы.
Гена**, ты мне вспомнился опять –
как цеплялся за её страницы
высохшей рукою – в двадцать пять!..

Мы-то живы! Нам и дела нету.
Дни порхают стаей глупых птах.
Мы их, словно мелкую монету,
тратим без раздумий, впопыхах.

Лишь попав в объятия больницы,
начинаем смутно сознавать,
как измяты нежные страницы
белой книги, что вручила Мать.

Сколько в жизни злобы и обмана,
зависти, невежества, нытья!
...Редко из житейского тумана
нам мерцает Книга Бытия.

1990-е

*Владик Афонченко, ровесники и сосед подвору на Федерации, 33 (ныне 37).

**Гена Ахматов (1940–1965) – друг, талантливый художник.

* * *

Средь красочного импортного хлама,
что завалил Россию до бровей,
пожалуй, всех нахальнее реклама
безбашенной настырностью своей.

Над головой, на стенах, под ногами,
с экранов иль горящие в ночи –
повсюду эти вопли: «Только с нами!»,
«Не прозевай!», «Доверься!», «Подключи!».

Ах, если бы вошло у нас в привычку
перемежать весь этот наглый лай
хоть изредка смиренною табличкой:
«Не укради», «Не лги», «Не возжелай...».

2011



* * *

Давным-давно, во время оно –
до Маркса, до Наполеона –
вставал мой предок средь оравы
спокойно дремлющих детей.
Он знал леса, деревья, травы
и все извивы их затей.

Ему часами было солнце,
а до и после – петухи,
и зеленело за оконцем,
и ворковало со стрехи.

Смотрел он важно и сурово –
всему хозяин и отец.
Мычала грузная корова,
и блеял табунок овец.

Он обходил свои владенья –
убогий замок избяной –
предвосхищая нападения
мороза лютого зимой,

а летом – засухи иль града
(но там бессилён человек).
Он делал всё, что было надо –
из года в год, из века в век.

И в свой черёд рождались дети,
росли, женились, он старел –
и ни к чему на белом свете
мужик претензий не имел.

2012

* * *

Бытие ненадёжно людское:
гоношимся, треща, гомоня...
А живём на скорлупке, под коей
безрассудное море огня.

Что нам до очевидного факта,
что под нами клоочет в веках
колоссальный атомный реактор
с пультом вовсе не в наших руках!

И стрекочем, подобно сорокам,
раздуваем гордыню и спесь...
Сколько дадено мирного сроку
было мамонтам? Где они днесь?

Но ни землетрясения, ни ливни
не меняют наш шумный бедлам;
И немой укORIZНОЮ бивни
возлежат по музейным столам.

2010



СТИХИ БЛАГОВА

Не спрячешь слово за скрипучей дверью,
ни под какой не подведёшь устав.
Его услышав, каждый скажет: верю
и улыбнётся, заново узнав.

Казалось бы, давно и знал, и слышал,
а вот поди ты, как оно сошлось:
то шелестит соломою на крыше,
то кованый вколачивает гвоздь.

Слова простые, а сойдутся рядом –
заговорит исписанный листок,
и словно в летний зной ошпарит градом:
в одно – и страх, и свежесть, и восторг!



* * *

Проношу сквозь толпу молодых,
через мир удалства и улыбок,
своё знание тёртых-седых,
как тот мир ненадёжен и зыбок.

Их сердца колоколят в груди,
жизнь не мяла ещё, не ломала.
Ах, как много у них впереди!
А у многих, представьте, так мало...

Как друзей не припомнить опять,
промелькнувших в изменчивом мире:
Гена – в муках ушёл в двадцать пять,
Юра ранее – в двадцать четыре**.

Так и в этом кипении лиц,
гомонящих, как выйдешь из дому,
многих ждёт этот горестный блиц
короля, что роняет корону

на квадраты игральной доски –
чёрно-белого раунда жизни.
В гаме – скрыто молчанье тоски,
в карнавале – насупленность тризны.

Чем окончится жизни кино
(в благоденствии? в муке? в печали?),
им пока что узнать не дано:
их сеанс ещё в самом начале.

* * *

Восьмой десяток? Мне? Вот это да!
Не ждал, не чаял, не гадал, не верил –
а вот и для меня открылись двери
туда, куда уходят без следа.

Ну, поначалу, скажем, кое-что
потлеет добротой детей и внуков,
но времени густое решето,
просеяв, скажет: «Отодвинься. Ну-ка!».

Да и к чему топорщиться, когда
и мир не вечен. Где тот ледниковый
период, и куда ушли стада,
бродившие оравой бестолковой,

как мы сейчас?.. Воюем. Создаём
то партии, то фракции, то блоки –
серьёзно озабоченные блохи
на шарике, напичканном огнём.

Чуть трещинка – так паника: вулкан!
Да как же так? И вот авиарейсы
отменены. Неужто вновь на рельсы
спускаться нам, привыкшим к облакам?

И каждый раз – галдёж и кавардак;
«Земле конец!» – стрекочем, как сороки.
А Геркуланум? А Помпея? Как?
Забыть успели старые уроки?

Занятное создание человек!
То сладко спит, то волосёнки дыбом.
Похоже, человечество навек
останется школяром нерадивым.

* Геннадий Ахматов и Юрий Муравьёв. В конце 1950-х работали в одном из НИИ города Обнинска, где и заполучили опасную дозу радиации.



Дети нашего двора по улице Федерации.
Первый ряд слева направо: Гера Зимин, Ира и Лора Григорьевы,
Вова Зимин, перед ним Ризгат Рахманкуллов, Вова Семенов,
Вова и Надя из соседнего двора.
Второй ряд: Владик Афонченко, Стасик Григорьев, Гена Гусев,
Лева Нецветаев, Лева Ермолаев, Коля Семенов. 1954 г.

УТРЕННИЙ АВТОБУС 1990-х

Ноябрь не делает отсрочки,
и люди, тяжкие от сна,
в автобусе – как сельди в бочке;
и – давящая тишина.

Одежды серы, лица хмуры,
коснуться – словно уколоть.
Куда девались балагуры?
Пошли хоть парочку, Господь!

Оно, конечно, лучше – чтобы
дружки со сходною судьбой
с похмелья легкого, без злобы
пикировались меж собой.

На тему давешней полочки,
что понесла пивной урон,
и воспоследовавшей взбучки
от их осатаневших жен...

Да мало ль что? Любая тема,
что с юморком и без затей,
глядишь, разгладит постепенно
суровость ликов у людей.

Придурковатая открытость
и незлобивость, вставши в ряд,
на время смоят зло и хитрость,
что там за окнами царят.

И кое-где мелькнёт улыбка,
столь драгоценная всегда –
и вроде всё не так уж зыбко,
не так уж мрачно, господа!

* * *

О, как мы в молодости падки,
ещё не выслушав, кажись,
палить ответы на загадки,
что задаёт старуха Жизнь.

Палим с напором, в упоенье
(ведь вся судьба у нас в руках!),
не видя грусти сожаленья
в её всё видевших глазах.

И было так, и есть, и будет,
пока весь этот пыл хмельной
не примирит и не рассудит
благой приют в земле сырой.



* * *

Не плачут дети на похоронах.
Они не в силах осознать нелепость,
что дед – шутник, защита их и крепость,
недвижен на столе в своих стенах;

что он не слез включить программу «Время»
(её вовек не смел он пропускать),
что звука не издал за это время
и что так долго терпит не дышать.

Как много собралось к нему гостей!
Наверно, это очень редкий случай –
так долго спать... И вот толпятся кучей –
ведь дед – одна из главных новостей.

Вопросы, телефонные звонки...
«Когда он умер?» Что такое «умер»?
Не в этом ли разгадка суеты?
И вновь трезвонит телефонный зуммер,
и вновь приносят свежие цветы...

И снова мама с бабушкой в слезах,
о чём-то неразгаданном жалея...
... Не плачут дети на похоронах.
Ещё не раз наплачутся, взрослея.

В БРОШЕННОМ ДОМЕ

Сколько же здесь люди не бывали?
Сорок лет, а то и пятьдесят?
Даже пауки поумирали,
лишь тенёта пыльные висят.

Только что в углу за странный шорох?
С лежака, отжившего свой век,
отвалив тряпичный драный ворох,
показался вроде б человек...

Всеми позабыт и позаброшен,
но ещё, по странности, живой,
сединой немислимо заросший –
абсолютно явный домовой.

Потолка проплешины сырые –
видно, сверху капало не раз.
Гигиена и санитария –
как же он, родимые, без вас?

А ведь был, поди, отцом и мужем;
не родился ж в этом он углу?
Для чего руке дрожащей нужен
тот стакан, лежащий на полу?

Можно всё сказать: скотина, быдло;
что ни скажешь – чем он будет крыть?
Хорошо, что глаз пока не видно –
можно тихо выйти и забыть.

* * *

В эфире зудящий азарт барыша:
– Хватай, не теряйся, чего ты?
Кнутом загоняется в клетку душа,
в загоны цыфирь и расчётов.

Буржуев клеймил идеолог лютой
азартно, со страстью мессии;
но жёлтый их дьявол, телец золотой,
давно прописался в России.

Отныне он – гуру и наш педагог,
он заново пишет законы:
что честно трудящийся – глуп и убог,
что золото – в центре иконы.

А те, что хотели бы честно смотреть
и в зеркало, и на прохожих,
с моим поколеньем должны отмереть –
да так и случится, похоже...

ПОЛУШУТОЧНОЕ (глобальное)

Земляки мои, земляне,
что нам делать в горький час,
коль на Землю нашу взглянет
построжавший Божий глаз?

Мириадами галактик
управляя, Бог-отец
об одной из давних практик
может вспомнить наконец;

об одном эксперименте:
испытать понятие «Жизнь»
на малюсенькой планете –
(тыща тридцать пять, кажись).

Он посмотрит строгим глазом:
как дела с проектом сим?
Помню, им давался разум –
как воспользовались им?

По таблице взглядом шарит:
точно, тыща тридцать пять.
До чего же мелкий шарик –
без очков не отыскать...

Подлетел: мороз по коже –
и разруха, и развал.
Сам себе воскликнул: – «Боже!
Как ты это прозевал?».

Посмотрел в большую лупу:
хоть ложись и помирай!
Да, пожалуй было глупо
доверять им этот рай.

Широко синели реки,
зеленел бескрайний лес...
Вижу: эти человеки
понаделали «чудес»...

Стал зелёный шарик пёстрым:
чередуются теперь
там и сям природы остров
с необъятностью потерь.

Но особую тревогу
(мир услышал нервный вскрик)
«подарил» седому Богу
самый крупный материк.

Впрочем, слева как-то чище,
звонче птишек голоса,
и вода годна для пищи,
и без мусора леса.

Луг – раздолье для скотинки,
трассы – гладки и чисты;
всюду домики-картинки
в довершение красоты.

Но правее – Боже правый! –
всюду мусор и погром,
зелень губится отравой,
лес – пилой и топором.

Тут и там гудят заводы,
растекается мазут,

и отравленные воды
в море синее текут.

Безо всякой видно лупы:
в сотни вёрст горит тайга,
и убогие халупы
исчезают без следа.

Помрачнев, с потухшим взглядом,
станет Боже напевать:
«С этим что-то делать надо,
надо что-то предпринять...».

Что решит он? Может, сразу,
чтоб плодиться не могли,
резко сдует как заразу
нас с поверхности Земли?

Иль, услышав, как со рвением
все глаголят о войне,
скажет с явным облегченьем:
«Сами справятся вполне!».



ШУТОЧНОЕ (житейское)

Время несёт нас могучим фрегатом.
Каждый из нас – мироздания атом.

Будь ты бомжом иль буржуем богатым,
пишешь сонет иль общаешься матом;

стриженым ходишь иль дико лохматым,
тайно влюблённым иль пышно рогатым;

Будь ты чиновником или солдатом,
скромным юнцом иль дедком бородатым –

но по особо торжественным датам
предосудительно быть не поддатым.

Впрочем, и будни не знают запрета
повод найти, чтоб решиться на это.

Внука зубок, день рождения внучки,
грусть похорон или радость полочки,

снятие стресса супружеской взбучки –
всё пригодится, валите до кучки!

* * *

Мы – снежинки житейской метели.
Слепо тычется наш хоровод...
А у каждого планы и цели –
на неделю, на месяц, на год!

Задевая друг друга боками,
то сближаясь, а то разойдясь,
мы летим, распростиаясь с облаками,
к упокою земному стремясь.

И так мало средь нашего сонма
твёрдо видящих жизненный путь
сквозь густую житейскую муть,
а душа и полна, и весома.

Вдруг столкнёмся то с тою, то с этим,
перепутав упрёк и мольбу,
и среди толчеи не заметим,
что как раз прозевали судьбу.



* * *

Мы стремились к вольной воле,
позабыв включить мозги,
и очнулись в чистом поле,
где ни дерева, ни зги.

Под ногами злая слякоть,
сверху – каменный астрал.
То ль смеяться, то ли плакать:
кто Отечество украл?

Холодок бежит за ворот,
зябко дрогнут стар и млад.
Где ты, где ты, милый город
из сплошных шестых палат?

Ни столба, ни чёрной хаты
и ни звёздочки с высот,
ни луны – за неуплату
отключили небосвод.

Корабли стучатся в рифы,
олигархов крепнет ряд.
Как леса, растут тарифы,
но, в отличие, не горят.

Цены лезут в поднебесье,
жулик будет с барышом;
на эстраде скачут бесы,
а спектакли – нагишом!

Власть всегда в парадной раме
и, жируя не путём,
разбирается с ворами,
словно с маленьким дитём.

Грозно пальчиком помашет
при обилии растрат;
коль арест – то лишь домашний,
отдохнуть, а тот и рад.

...Мало нам твердили в школе
надоевшие брюзги:
«Прежде чем стремиться к воле,
заимей свои мозги!»...



*Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок».
(Маяковский)*

ИЗ ПОЭМЫ «НЕ ХОРОШО»

Пёр москвичей
стодевятый вал,
но, не поднявши век,
на перекрёстке
Тверской стоял
мыслящий человек.

В толщу проблем
мудрый взор вонзал –
без охраны – один, как перст.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
господин Эрнст.

Лафа непотребству,
слово «честь»
разлазится
каждым швом».
Эрнст огляделся:
путан
не счесть –
«Очень хорошо».

И, не согнав улыбку с лица:
«Правилен

наш

маршрут.

Если ТВ не кинет мясца –
массы ТВ сожрут.

Ах, воспитание! Что за муть?
Деньги –

всего движок.

Если хотя бы и Вас копнуть –
что там внутри, дружок?

Деньги

да бабы,

ещё футбол

(иль, виноват, хоккей?).

Коль это есть –

никакой глагол

сердце не жжёт...

О`кэй?

Этот убогий идеализм
тихо сошёл на нет.

Зреет румяный капитализм
в нежном дожде монет.

Ну, а с вопросом

«Куда вести?» –

право же – не ко мне.

Так что мы знаем, куда грести –
вслед золотой волне...».



МУЗЕЙ НА ВЕНЦЕ

Он по волнам времён опять ко мне приплыл,
как яблочко из роц божественного сада.
Пять дюжин лет назад какой приманкой был
узорчатый крутой утёс его фасада!

И пушка Пугача лежала у крыльца
(потом её запрятали куда-то),
и вот была забава у мальчика:
ствол оседлав, себя почувствовать солдатом!

За тяжкими дверьми таилось в глубине
всё то, что говорит не меньше как о чуде:
там скалил зубы волк среди веток и камней
и Разин пламенел на пластовском этюде.

Из вестибюля завернув налево,
в юнната превращался шалопай:
оттуда то чижа звучат напевы,
то тишина, то строгий нагоняй.

Детишек привечая, как коллег,
приоткрывая им волшебный ящик,
там чародей Рождественский Олег
шаманил среди своих ужей и черепашек.

В протёртом на локтях кургузом пиджачке
он нам давал на всё детальные ответы:
про бой тетеревов на снежном пятачке,
на что ловить сома, какое будет лето.

...Потом начался рисовальный раж
(хоть и к зверушкам тяга не слабела),
и на второй торжественный этаж
с альбомчиками входим оробело.

Студийцы пионерского Дворца:
Ахматов, Гришин, Зайцев и Янгайкин...
Мы рисовать готовы без конца –
ну хоть фигуру всадника с нагайкой.

Потом узнали: это Лансере.
А там – Серов... и Репин с «Кочегаром»...
На юношеской утренней заре
они тогда нам встретились недаром.

И верхний зал уже сильнее влёт,
чем чучела и ржавые доспехи,
и разгорался тайный огонёк,
и начинались первые успехи...



* * *

Как ни пыжся – уходят силы;
всюду юности торжество.
О, ровесники, как вы милы,
что не бросили одного;

Что, порою встречаясь с вами,
ясно вижу: не я один
за свидание с чудесами
заплатил серебром седин.

Разве не было чудом детство,
старый буйковский серый дом,
лук и стрелы, игра в индейцев,
даль безбрежная за окном.

Это в городе небо синее
закрывал нам соседний дом;
лишь деревня была Россиею
настоящей, где всё кругом:

от крылечка до леса дальнего,
до живой воды под мостком
каждым летом – долой сандалии! –
всё обегано босиком.

По лугам проносились с гиканьем –
ликовала живая плоть!
Не топили глаза в мобильных,
в интернетах – упас господь!

А теперь всюду спины гнутые
над карманным своим связным...
Этой связью ежеминутною
для чего мы себя казним?

И под Вязьмою, и под Тулою,
фору дав самим москвичам,
всюду бродим в очках, сутулые,
не по игрищам – по врачам.

Не за глазки нам были дадены
лифты, скорости, интернет...
Нас от наших дремучих прадедов
отличает хворей букет.

А, коль Солнце, и то – не вечное,
что нам хмуриться-горевать?
Славься, наша судьба увечная!
Славься, химия – наша мать!



* * *

Ветрено. Приплясывают листья
в серой середине октября,
и проведена небрежной кистью
вялая бесцветная заря.

Время книг, лежанок и покоя...
Ах, Обломов, милый человек!
лишь неспешный позапрошлый век
мог позволить что-нибудь такое:

помечтать, глаза на огонь,
развалившись в кресле у камина,
опершись щекою на ладонь –
напрочь позабытая картина.

А в двадцатом – Боже упаси:
Баррикады пятого, Цусима,
Мировая... Время на Руси
рвётся и гремит невыносимо.

То «Аврора», то чекисты в дверь,
полстраны в воронках от бомбёжек;
мечется по лесу крупный зверь,
из норы не кажет носу ёжик.

А утихло – новая страда:
снова пояса стянуть потуже,
заново отстроить города,
атомное выковать оружие.

Что же? Подтянули пояски,
напряглись и целину подняли,
и Хрущёв поведал, что близки
коммунизма солнечные дали.

И как будто всё пошло на лад:
Куба – с нами, в космосе – Гагарин...
Но в Кремле наметился разлад:
мол, Никита, как капризный барин,

слишком самовольствует и нас,
коммунистов ленинского толка,
держит для блезиру, про запас –
и накрылась эта самоволка.

Знать, в Кремле шарахаться устали
и давно возжаждали покой.
И пришёл – не Ленин и не Сталин –
Брежнев. Представительный такой...

Как-то без особенной натуги
удивили весь двадцатый век:
взрыли целину стальные плуги,
космос – наш, почти уже навек!

И Союз ещё на много лет
по тропе испытанной повлёкся;
«ленинский Центральный Комитет»
вечен был, как статуя Хеопса.

Но и там закончился завод,
и страна ждала почти с испугом,
как генсеки трижды – каждый год –
дружно уходили друг за другом.

Новый, энергичный и живой,
нас зажжёт мечтой о переменах:

хватит жить за каменной стеной
и плодить чекистов и военных!

Мир оружием слишком начинён,
чтоб копить взаимные угрозы.
Со стены берлинской и начнём:
где была стена – посадим розы!

Позабудем старое «авось»,
смело в новый путь, Россия-тройка!
И, как раньше «Sputnik», понеслось:
«Glasnost», «Uskorenye», «Perestroyka»!

Были неясны ещё пути
ни вождю, ни самому народу...
Тут-то и проснулся аппетит
тех, кто любит взболтанную воду.

Всю свою смекалку, весь свой пыл
проявила алчущая стая;
царь Борис пускает на распыл
весь Союз – от края и до края.

Что ж теперь? Ни раком, ни ползком
не вернёшься в прошлое обратно.
За свободу чёса языком
заплатили много-многократно.

То всплываем, то опять на дно –
всё с надеждой: вывезет кривая...
Видно, век России суждено
топать по граблям, не уставая.

2006

Ударом ли мгновенным (дай-то Бог!)
прервётся жизнь на шарике злочастном –
иль умиранья тягостного срок,
агония под солнцем беспристрастным?

«Не всё ль равно?» – не скажем. Нет и нет!
Нам нужен статус-кво: ни то, ни это.
Когда придёт пора давать ответ,
мы не осилим тяжести ответа.

Как ни верти – Земля наш общий дом.
Мы задолжали – много иль немножко?
Пора, пора припомнить про Содом,
чьи жители увязли в неплатёжках.

Не сами ли с собой ведут войну
у нас в России люди-человеки?
Ведь не на кого сваливать вину:
не рыбы отравили наши реки...

Не волки захламили от души
окрестные леса и перелески,
что не отыщешь, сколько не ищи,
полянку без бутылки и железки...

И миномёты начинают вой –
то там, то тут, а то повсюду разом...
«Безумные», – качая головой,
глядит на нас с высот Вселенский Разум.

Не слишком много ль взяли мы взаймы,
чтобы не думать о грядущей плате?
Чего нам ждать? Что заслужили мы
помимо койки в той, шестой палате?

ИГРА

Когда король ушёл налево,
от вождения дрожа,
к себе велела королева
позвать весёлого пажа.

Он весел был – простым слугою;
туда-сюда с улыбкой мчал;
а тут, почувствовав другое,
и заробел, и замолчал.

– Ты нынче грустен, как я вижу.
Надеюсь, это не слеза?
Ну, подойди ко мне поближе
и покажи свои глаза.

Ах, бедный, бедный... Что такое?
Ещё поближе подойди.
На сердце, что ли, нет покоя?
Пугает что-то впереди?

О Боже, как я понимаю!
Мне и самой не по себе:
я и сама в разгаре мая
печалюсь о своей судьбе.

Король всё занят – не дозваться;
со скуки заживо помру.
А мне годов всего-то двадцать,
и я придумала игру.

Игра забавная такая –
сыграть порученную роль:
я буду девушка простая,
а ты – барон, коль не король.

Всё, что прикажешь, я исполню.
Чего так сразу побелел?
Ты принимай меня за ровню –
и будь, как с той кухаркой, смел.

Ведь ты щипал на кухне Марту?
(слыхала я весёлый визг).
Отдайся вновь тому азарту,
таким же смелым становись!

А вот теперь краснее мака;
ну что с тобою? Рядом сядь,
вот тут... Как робок ты, однако...
С чего бы нам теперь начать?

Пожалуй, с грозных повелений:
Ты скажешь мне: «А ну-ка, ты,
присядь к синьору на колени,
исполни давние мечты!

Ведь ты давно о том мечтала,
и вот я рядом... Поживей!»
Ну говори же! Я устала.
Ну, Патрик, будь же пободрей!

Не стыдно ль быть таким несмелым?
А ну-ка, осуши бокал!».
... Лицо бедняги стало белым,
но на ногах он устоял.

То был румяным, яблоч краше,
теперь же бледен, словно мел...

«Я не могу... Простите, Ваше
Величество... Я заболел...

Наверно, у меня горячка...
В глазах туман... Едва дышу...»
– «А ты забыл, что я гордячка –
и своевольства не прошу?

Урона нет моей гордыне,
и шутка – это не позор.
Но ты наказан, и отныне
тебе судьбою – скотный двор!».

Ушёл – и еле отдышался:
«Ура! Кажись, остался жить.
Пусть скотный двор – но жив остался!
Иначе – не предположить ...».





Моя мама
с родителями
Хрисанфом
Николаевичем
и Марией
Елисеевной
Егоровыми
и братом Григорием.
1930 г.



Мой отец
с родителями
Павлой
Александровной
и Петром
Апполинариевичем.
1911 г.

СУДЬБА ДАЁТ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДКОВ

* * *

Судьба даёт родителей и предков,
тем самым предопределяя путь;
Как разные плоды на разных ветках –
вот так и мы кустимся как-нибудь.
Тот – персик, тот – кизил, а эта – груша;
а вот и волчья ягода – держись!
Порядок задан, и его нарушить,
боюсь, что не получится ни в жисть.
Сие несправедливостью чревато,
и вот она колотится в виски:
ну чем полынь степная виновата,
что не даны ей розы лепестки?
Принцессу ту никто не пнёт ногами –
восторженно задержится любой.
По полынку ж – тупыми сапогами,
колёсами... И порознь, и гурьбой...
За что? За то! Умнее нет ответа.
Судьба. Необсуждаемый закон.
И снова ты – как в комнате без света,
к тому же, без дверей и без окон.

2000



ЧЕРНИЛЬНИЦА ДЕДА

На полке, всячиной забитой,
не ворошимой с давних пор,
нашёл я дедушкин забытый
на две чернильницы прибор.

Не скажет Пётр Аполлинарьич,
учитель в северной глуши,
он куплен был иль кем подарен –
отрада пишущей души.

Ему поболее столетья,
и хоть синоним мне – бедлам,
когда и как сумел посметь я
его засунуть в этот хлам?

Чернильница стекла витого
(напарницы простыл и след);
какую мысль, какое слово
в тебе выуживал мой дед?

Эмблема чинного уюта,
где мебель мягкая кругом,
заехавшая почему-то
в сосновый деревенский дом.

... В глубины фотоснимков канув,
со скромностью не напоказ,
мой дед был не из великанов;
и художав, и светлоглаз.

Мне на него не наглядеться:
глаза с искринкой, взор прямой...
А было, было в горьком детстве –
ходил он с нищенской сумой.

В сиротской жизни – нет излишку;
и корка – Божья благодать.
А вот ему бы в руки – книжку,
а вот её бы – прочитать!..

Вовек в мешке не спрятать шила,
и вот село, взамен отца,
хоть и накладно, но решило
отдать в учение мальчика.

Там первым стал, и было больно
деревни ропот услышать:
читать умеешь – и довольно;
вертайся сеять и пахать.

На мать посыпались упрёки:
сама теперь его тyani!
Он голодал, давал уроки –
судьба решалась в эти дни.

А времена – начало века:
война с Японией, война
с Германией, и человека
пылинка вовсе не видна.

Хлебнувши лиха, к новой власти
он повернулся, как к родной,
не зная, что в её же пасти
он и закончит путь земной.



Мой дед – трагедия-загадка;
я с отрочества знал уже,
что и в семье жилось не сладко
его тоскующей душе.

В те годы девка трепетала:
её судьбу решал отец;
и дочка Буториных, Павла,
шла, как на плаху, под венец.

Ведь был ей люб совсем другой,
она ему, и эта драма,
кровоточащая, как рана,
звалась обыденно – судьбой.

А время шло. Рождались дети.
Немало: пятеро. Они
и скрасили на белом свете
его безрадостные дни.

Он был учителем от Бога,
но Время, Время! Неспроста
столь многих увела дорога
на запад, в сытые места.

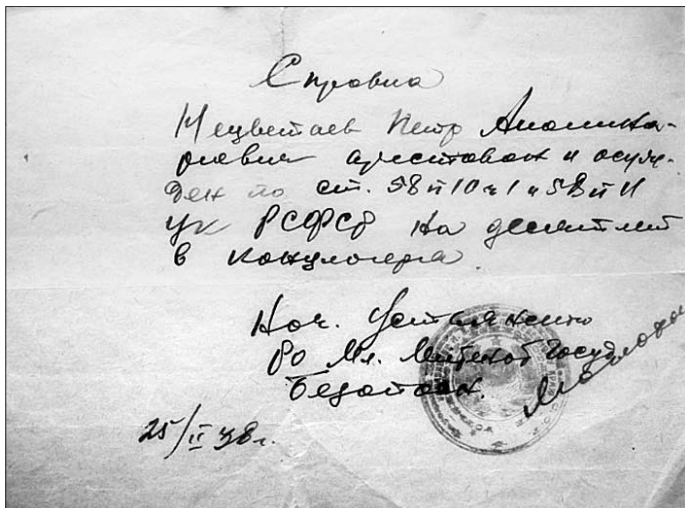
На Волге голод. Что же Север?
 Чтоб жить – трудись! – ответ простой.
 И дед с сохой пахал и сеял –
 не для рекламы, как Толстой.

Его сельчане твёрдо знали,
 что он не покривит нигде,
 и потому частенько звали
 в состав ревизий и т.д.

Он, верно, правдолюбом истым
 прослыл. Не брал под козырёк.
 И братьям Ручьевым, чекистам,
 стал явно горла поперёк.

И в том, что он, купив для школы
 дрова, сел выпить с продавцом,
 узрели страшный акт крамолы –
 мужик считался кулаком,

к тому ж, участником восстания –
 вот и готовый приговор!



Явились. Деду приписали
 «антисоветский разговор».

А дальше – чёткая машина
 не знала сбоев. Увели.
 А кто поможет? Все три сына
 от дома отчего вдали,

по счастью, были на ученье;
 а были б дома – уж тогда
 пошло бы в ход «разоблаченье
 антисоветского гнезда».

Дед пострадал один. Безвинно.
 Таких, как он, не перечсть.
 Российских перемен лавина
 смела, как мусор, слово «честь».

И дети, где б их ни носило
 с навечной раною в душе,
 не знали, где его могила,
 да и была ли вообще.

ЗЕРКАЛО

Мелькают жизненные блики,
мечты и факты.
Вдруг кто-то в зеркале окликнет
и спросит: «Как ты?».

Окликнет – словно в чистом поле
столкнувшись с другом;
и ты застынешь поневоле –
почти с испугом.

Его ты видел временами –
всё вскользь и в спешке;
а тут он смотрит, не мигая,
и без насмешки.

У вас одно и то же имя
и быта клетка.
Он часто говорил с другими,
с тобою – редко.

Шагнуть – и нет его, но что-то
тебя удержит –
как Пётр, встречающий в воротах
уже умерших.

Да и вопрос его, по сути,
почти такой же:
как ты пути и перепутья
прошёл и прожил?

И холодок скользнёт по коже.
Тоска немая.
Что отвечать ему? Ведь он же
и сам всё знает.

Он знает все твои кульбиты –
до самых стыдных –
тех, что старательно забыты –
следов не видно.

Таким он знанием наполнен,
что хуже ада:
«Быть может, отрочество вспомним?».
Молю: не надо!

...Зеркал магическая сущность
давно воспета.
Глазеть подолгу в них не нужно –
опасно это.

Бессильны здесь любые речи
и укоризны –
как репетиция той встречи,
что после жизни.

2017

* * *

Когда душа рвалась от боли,
он шёл и шёл сквозь тёмный лес
и вышел на большое поле
под кротким пологом небес.

Закат был бледно-бледно розов,
в траве кузнечики слышны,
и каждый листик, как философ,
был полон важной тишины.

Всё это было как подарок
ему, уставшему страдать:
и то, что вечер был неярк,
и мирных звуков благодать.

Весь мир дышал такой любовью,
лишённой гнева и суда,
что сердце помирилось с кровью
и задышало, как всегда.



И. А. ГОНЧАРОВУ

Иван Александрович, милый,
порою нас мысли томят
о том, что над Вашей могилой
не волжские вётлы шумят.

Понятно, что Питер – не Дели
(возможно слетать за полдня),
но мы бы получше глядели
за Вашей могилой – родня!..

Коль в жизнь на закате вглядеться –
в несчётное множество дней –
с вопросом: что главное в ней? –
нередко окажется: детство!

Про ясное утро Илюши
прочтём в предназначенный час –
и самые чёрствые души
почувствуют: это – про Вас!

И можно без всякого риска
сказать, что в души закромах
немало у Вас от Симбирска;
там Волги простор и размах;

текучие воды Свяги,
крутого Венца высота,
журчащей Симбирки овраги,
подгорных цветов чистота.

Порою страницу осветят,
из юности давней горя,
радушие добрых соседей,
насмешливый ум волгаря.

Найдите, хоть всё там обрыскай,
окраины все перерыв,
на плоской земле петербургской
столь дивно воспетый обрыв!..

Отсюда, с того перекрёстка,
где дом бело-красный стоит,
Его укатила повозка
в писательский звучный синклит.

Объехав по морю полсвета,
живущий по многим томам,
в июньское звонкое лето
он вновь возвращается к нам!

18 июня 2017

У КРАЯ

Года, словно хворост, сгорая,
приносят всё больше потерь –
и вдруг замираешь у края
и думаешь: что же теперь?

Не шибко разумной тетерей
ты жил без особых затей,
и сам скоро станешь потерей
для в том не повинных детей.

В успех не особенно веря,
сказать бы у самых ворот:
– Ребята, какая потеря?
Обычайший круговорот.

Закон этот писан издревле,
иного, увы, не дано:
меняться, как листья на древе,
нам всем на Земле суждено.

К тому же, утратившим силы,
что были всегда под рукой,
не страшно понятие могилы,
желанен и ЭТОТ покой.

А нам, православным, тем паче
о смерти печалиться грех:
в могилу лишь тело запрячут,
как в землю сажают орех.

А наша душа, коли верить
(о, как эта вера сладка!),
разрушит подземные двери
и даже пронзит облака.

И там, за неведомым краем,
в миру без печалей и слёз,
узнаем мы иль не узнаем
друг друга – вот это вопрос.



* * *

Не вспоминал я детство в сорок,
дремала памяти волна –
страстей и дел привычный морок
забил извилины ума.

Из уст, из рупоров, из окон
ломились будни, дух томя –
но рос незримый нежный кокон,
от них спасающий меня.

Задачи дня, дела недели,
зарплата, служба, гастроном –
они по-прежнему галдели,
но уже словно б за окном.

А к ночи вовсе затихали,
и вот под тиканье часов
из навсегда забытой дали
раздался первый тихий зов.

Он шёл оттуда, где деревья
кустились гнёздами грачей,
где на горе была деревня,
А под горой река-ручей,

где в небе ласточки витали,
а бык страшней, чем крокодил,
где по утрам дружок Виталий
ко мне под окна приходил.

И мы, не ведая сандалий,
неслись неведомо куда;
всё было нашим: близь и дали,
и речки тёплая вода.

Ничей надзор нам был не нужен,
и лето не считало дней...
И это всё, спустя пять дюжин,
ещё дороже и родней.

И заврежён теченьем плавным,
за хороводом лет и зим,
быть может, и не стало главным,
но самым, самым дорогим...



* * *

У Бога милостей не счесть;
что стоит в виде шутки
вернуть назад годов на шесть
меня хотя б на сутки.

Я б эти сутки наконец
провёл с умом и тактом.
Ещё там будет жив отец,
хотя уже с инфарктом.

Он, словно муку и позор,
последним зрячим глазом
обозревает тот разор,
что навалился разом

на всю злосчастную страну;
а им, кто нёс лишенья,
весь путь их ставится в вину
без слова утешенья.

Я подойду к нему: «Отец,
теперь признаюсь: прав ты —
всё это вовсе не венец
святой высокой правды».

Хоть я не верил в коммунизм —
твою опору жизни —
но ясно — и капитализм
погряз в идиотизме.

Сто тысяч видов колбасы
и яркость упаковок
в соседстве нищих и босых —
подлей любых издёвок.

Тебе неглупые вожди
сулили рай грядущий,
но сказка эта, как мечта,
была хотя б чиста;
а в этой гонке за «баблом»
давно забыты души,
хоть толстосумы, как и встарь,
кивают на Христа.

...А Толя, друг мой и сосед,
талантливый и пылкий,
ушедший вскоре за тобой
в предел сплошных ночей;
любитель затяжных бесед
в присутствии бутылки,
где повод годен был любой
для пламенных речей.

Я всё пытался ускользнуть —
и Толя это чуял.
Он так обиженно глядел,
что больно вспоминать.
Ах, если б время возвратить,
то, грусть его врачуя,
я б убежал от глупых «дел»,
чтобы его обнять.

Но нет ни пропуска туда,
ни льготного билета,
как ни хотел бы человек
попасть туда суметь.
Невозвратимая вода
реки с названьем Лета
уходит в прошлое навек,
чтоб там закаменеть.

* * *

Всё бурее листва,
в ней прорехи всё шире,
хоть ещё не дошло
до ажур ветвей.
Как нам много дано
увидать в этом мире:
то метели метут,
то поёт соловей.

Ты мальчишка. Влюблён
в Падиярову Таню.
Но сойдётся весь мир
в поплавок на воде:
задрожит или нет?
Канет или не канет?
И не надо сейчас
о любой ерунде.

Позже плоти
угрюмые тайные зовы
загородят весь мир —
до рыбалки ли тут?
Но учёба на стол
указует сурово,
на учебники: школа,
потом институт.

Мы года перемелем
в студенческой ступе
в золотой порошок,
чтоб всю жизнь вспоминать...
А потом ребятня
хороводом обступит,
заявляя: «Я тоже
хочу рисовать».

Как просторна фантазия,
мысли чисты,
и рисуют часами,
не зная простоя...
Вскоре Виктор Софронов,
взглянув на листы,
спросит: «Ты понимаешь,
что это такое?».

«Понимаю» – отвечу,
и как не понять?
Только я ни при чём –
это явно от Бога:
что талантливы дети,
и лишь не мешать
им, пока им самим
не открылась дорога.

Жизни ось повернётся
на новых витках;
у детей моих вырастут
новые дети;
повторятся заботы.
надежды и страх,
что и света когда-то
не будет на свете.

2015

ЖЕНСКИЙ ПОЛ

Когда я был беспечно весел,
богами юности храним,
рок на меня ярмо навесил
ужасной робости пред ним.

Будь у меня хотя б сестрёнка,
у ней – подружки... Всё не так:
я молча изнывал в сторонке,
не приближаясь ни на шаг.

И словно грохали орудья
и разверзались облака,
когда меня в трамвае грудью
касалась женщина слегка.

И рассыпался я в осколки,
и возносился к небесам...
О, сколько вытерпел я, сколько,
пока не тронул это сам!

Но были щедрыми богини
с улыбкой милосердных глаз,
и счастьем видеть их нагими
я был сподоблен. И не раз.

Тогда ослаб проклятый тормоз,
дарила радости любовь,
но каждый раз святая робость
меня охватывала вновь.

2007

* * *

Сколько глупых, нелепых страниц,
что не выправишь, не перепишешь,
стайкой странных уродливых птиц
унесли за неведомой пищей.

Унесли, а никак не забыть,
не забыть, не вернуть, не исправить.
Улетели они теребить,
теребить и клевать мою память.

2011



* * *

Детерминизм имеет место
до той поры, до той поры,
когда откажет вам невеста,
хоть вы богаты и добры.

И по душе она давно вам,
как волн касанье кораблю,
но рухнет всё под этим словом,
под дикой фразой: «Не люблю».

Да как же так? Да я же – вот он:
красив, и статен, и умён...
Ошибка явная! Чего там!
Да мне ж дороже нет имён,

чем это имя, это слово...
Других не будет никогда!
Неужто ты в кого другого?..
Она спокойно скажет: «Да».

И вместо солнца – тучи. Вместо
букетов – винные пары.
Детерминизм имеет место
до той поры, до той поры...

2010

* * *

Старик, российский скарабей,
плетётся, и смешно потомку
глядеть, как хворей и скорбей
влачит он тяжкую котомку.

О, как потомок глуповат!
Когда бы знал он, сколько было
в нём раньше мега-киловатт
страстей, энергии и пыла!

Когда могучий маховик
гудел в нём – пыла и горений –
о званьи деда и на миг
не ведал страшных подозрений.

Но строгий времени закон
гласит: покуда юн – не мешкай,
пока потомок из окон
не глянет с явною насмешкой.

И мысль, что юный в свой черёд
пройдёт чрез это унижение,
в усталый разум принесёт
скорей печаль, чем утешенье.

* * *

Как многое мне было не дано!
Как волку не дано, подобно рыси,
жить на ветвях, как рыбе, видя дно,
вовек не ощутить надмирной выси –

так я, скрутясь в завистливый комок,
смотрел на то, как с девочкой при встрече
пацан-ровесник преспокойно мог
её привлечь за талию и плечи.

Возможно ль было в этот горный мир
войти настолько смело и небрежно?
И я за той, кем звался мой кумир,
лишь наблюдал – восторженно и нежно.

Потом – я не решался танцевать,
смешил походкой – звали косолапым;
тут поневоле станешь рисовать
иль фильмы пересказывать ребятам.

Вот это помню с гордостью в груди,
и, видно, даже получалось ловко:
начнёт лишь кто-то – скажут: «Погоди,
ты погоди, пускай расскажет Лёвка».

На лыжи с отвращением вставал,
и был каток не счастьем, а отравой:
ведь я лишь только в семьдесят узнал,
что левая нога короче правой.

И хоть давно причёски молоко
мне стало дополненьем к слову «старость»,
всё стало и понятно, и легко:
хромай и дальше – много ли осталось?

* * *

...Вот проснусь и увижу:
я в доме один.
Видно, дедя с бабусей
с утра на усаде.
Летний день впереди,
и я в нём господин;
Сколько ж будет открытий
и радостей за день?
Скоро, скоро Виталик
Чихалов зайдёт.
Мы с ним оба пока что
в зоологи метим.
Надо б точно узнать,
где крапивник живёт —
одно место в сирени
у нас на примете.
Нам немного за десять,
и всё впереди;
Правда, Римка Куркова
уже нас тревожит;
Будет всё впереди —
и туман, и дожди,
но пока что ничто
наш восторг не треножит.
Мы везде побываем —
и всюду вдвоём;
к свету в банном окне
подкрадёмся украдкой;
мы в сиреневых джунглях
рубахи порвём,
но крапивник и Римка
пребудут загадкой.

...Я проснусь и увижу:
три койки вокруг —

там во власти уплаты
Морфеевой дани
дремлют Гарик Беркович
и Дима, мой друг;
третий — Лёва Козлов,
тегеранец недавний.
Мне б проснуться сейчас,
но во времени том,
когда было нам с Димой
лишь только по двадцать,
когда Дима не ведал,
что все вчетвером
лишь к концу его жизни сумеем собраться.
...Я не стал бы будить,
стал бы долго смотреть
в ваши юные лица,
склонясь к изголовью.
Если б мог я тогда
ну хотя бы на треть
одарить вас такою,
как ныне, любовью.
Вот и ценим, когда
не достать локоток,
когда мы старики,
оттого так и пылки
наши редкие встречи —
и общий исток
согревает наш круг
безо всякой бутылки.

...Я проснусь и увижу:
светло за окном —
так что скоро конец
тишине в этом мире:
загрохочут трамваи,
пробудится дом,

и моя ребятня
 затопчет в квартире.
 Но пока ещё спят –
 вижу, дверь приоткрыв.
 Тишина, как в ещё
 не разбуженном улье.
 Между Олей и Димой
 три года разрыв,
 а ещё между ними
 вписалась Светуля.
 ...Раз один из бананов
 (привёз для детей)
 на три части рассёк:
 угощайтесь, пацанки!
 Только Света
 и не прикоснулась к своей:
 – Я хочу целиком –
 как едят обезьянки!



С детьми Ольга, Дима, Светлана,

...Я проснусь и увижу:
 я снова один;
 среди книг, в мастерской,
 вознесённой высоко.
 Город где-то внизу.
 В ореоле седин
 вижу в зеркале два
 невесёлые ока.
 А какое веселье
 под семьдесят лет?
 Хотя, вроде бы, всё,
 слава Богу, спокойно:
 я почти что здоров,
 но родителей – нет,
 и ещё не нахлынули
 звёздные войны.

2008



БАЛЛАДА О ЧЁРНОМ КАРАНДАШЕ

Когда мелькнёт карандаша
Огрызок где-то на дороге –
Как в детстве, обомрёт душа
И к месту прирастают ноги.

И на какой-то краткий миг
Мне снова три-четыре года.
Война. Деревня. Нету книг.
И за окошком непогода.

Гляжу на полку, не дыша:
Там стопка маминых тетрадок
И... черного карандаша
Кургузый маленький остаток.

Был прост тогдашний макияж,
И нынешней французской туши
Так не согреть девичьи души,
Как грел их чёрный карандаш.

На маминых бровях неярких
Он оставлял заметный след.
Короче, маленький предмет
Был ценностью высокой марки.

И было выше всех наград,
Когда она, вздохнув сначала,
В ответ на мой молящий взгляд
С улыбкой мне его вручала.

Я спешно выводил коней,
И, хоть они похожи были
Скорей на коз или свиней,
Кавалеристы их любили.

Взлетали светлые клинки,
И бурки реяли, как птицы,
И мчались конные полки
По разлинованной странице.

Они вбивали смертный клин
В кольцо фашистской обороны,
И "мессершмитты", как вороны,
Валились прямо на Берлин...

И было радости с излишком,
И я мечтал, впадая в раж,
Как дам я целый (!) карандаш
Когда-нибудь своим детишкам.

И даже два! А то и три!
Да нет – откуда столько денег?
...И до сих пор в стекле витрин
Дивлюсь на их грошовый ценник.

1988



Карандаш тогда стоил 2–3 копейки

* * *

М.

Мне однажды приснится, что я взаперти,
руки связаны, крепок засов,
и метель замела все дороги-пути,
но очнусь – и пошлю тебе зов.
Знаю я: не поверит нигде и никто –
только что мне до этих тетерь –
потому что в сквозном полуволетном пальто
ты вот-вот постучишь в мою дверь.
Промолчат с превосходством тугие болты,
туго сдвинутся брови в ответ;
ты рванёшь – и вся дверь разлетится в щепы,
потому что преград тебе нет.
И в бескрайних снегах запоют соловьи,
и ослабнет верёвочный жгут.
Ты ко мне припадёшь – и слезинки твои
моё чёрствое сердце прожгут.

1990-е



ДОЧЕРИ-МОНАХИНЕ

Она ушла своей дорогой.
Наш общий стон затих уже.
«Ушедших к Господу – не трогай» –
всё громче слышится в душе.

Её дорога ей по силам.
Чем путь трудней – тем выше честь,
и посланных Таким посылом
по пальцам можно перечесть.

Они – кремень, а не водица;
не на таких ли крепла Русь?
И нам осталось лишь гордиться,
и я, естественно, горжусь.



* * *

Сколько раз я бывал неправым !
Нету счёта моим потравам –
так что право бродить по травам
мог Господь у меня отнять.
Но щадит он мои морщины:
трижды стукнувшись об машины,
избежал наложенья шины –
кровь отщёр, и гуляй опять!

Отчего эти все отсрочки?
Очевидно, за подвиг дочки,
что житейские наши кочки
поменяла на вид с вершин,
с коих наш людской муравейник
с жаждой почестей или денег –
заплутавший незрячий пленник
им же выдуманных машин.

Есть ещё альпинисты Духа;
непривычны они для слуха,
хоть уже начинает ухо
проявлять порой интерес
к позабытым словам: «Успенье»,
«Богородица», «Вознесенье»
(нам привычно лишь «Воскресенье»),
хоть забыто, а кто ж воскрес).

Ей таланты даны от Бога:
не один и не два, а много;
и, казалось, её дорога
там, где ей суждено блистать.
А её окружают прочно
книги, службы удел бессрочный
и собаки, уж эти точно
обожают её, как мать.



* * *

«Остановка "Северный Венец"», –
говорит кондуктор без обмана –
и всплывает Северский Донец
из тридцатилетнего тумана.

...Летний зной до звона загустел.
Грезит тишь по грозовым раскатам.
Несколько ленивых дачных тел
возлежат на берегу покатом.

И земным осям наперерез,
воспевая смелость инженеров,
целит в небо Счастьинская ГРЭС
трубами невиданных размеров

Это от неё невядалеке,
где так редки холод и ненастье,
проживали люди в городке
под затейливым названьем Счастье.

Эта ГРЭС, отдать ей надо честь,
грела горожан получше меха.
В ней Иван Филиппович, мой тесть,
был тогда начальником химцеха.

С Анною Матвеевной, женой,
они жили голубиной парой,
хоть не обошли их стороной
тяжкие житейские удары.

И когда я летом приезжал
на донецком солнышке погреться,
он в больнице часто гостевал –
износилось трепетное сердце.

И когда ночами он без сна
с астмою боролся на балконе,
помню: рядом с ним сидит она,
глядя исхудавшие ладони.

Днём, оттаяв, пробовал шутить
и вести себя, как в жизни прежней –
чтобы ни на миг не омрачить
наш досуг, лениво-безмятежный.

Он и в самом деле был таким:
невозможно вкусные обеды,
сонное валянье у реки,
чтение книг и вялые беседы

с теми, кто зайдёт на огонёк
(одноклассниц дружеские встречи).
Веселил нас маленький Сашок
перлами забавной детской речи.

И, закончив чайный водопой,
прихватив купальники по моде,
проклиная надоевший зной,
снова вяло движемся к природе.

.....

...Не пойму (наверно, бестолков):
кто послал уродливые танки
искорёжить землю той полянки
и искать в прицелы земляков?..

2017

* * *

Будильник прозой прозвенит:
ополоснись, одень...
В своём подъезде знаменит,
я выйду в новый день.

И будет новый день прожит
ни ярче, ни бодрей;
а сколько их таких лежит
на дне календарей!

Но каждым вечером – мечты,
что завтра, наконец,
сумеешь оправдаться ты
за всё, что дал Творец.



* * *

Заболоцкая грустная нежность души
начала не спросясь заявляться под вечер.
Коль пришла – проходи. Посиди, подыши.
Я бы гостье и рад, да кормить её нечем.

Где былая влюблённость всего существа,
где одно только имя пронзало до дрожи?
Облетела души золотая листва,
только голые ветки остались, похоже.

Нет тепла между ними почти ни к кому –
то ли выдуло, сам ли отдал добровольно,
и последняя ясность стоит на кону:
сам виновен за то, что один. И довольно.

2006

* * *

Неохота, но что поделаешь –
кроме радости есть и боль.
В землю чёрную тело белое
обращает сия юдоль.

Может, телу и будет сладостно
раствориться в земле сырой...
Нам неведомы боли-радости,
что обступят в жизни второй.

А душа – не на рынке женщина;
долу тянет грехов тетрадь.
Сколь напутано – столь отвешено;
не получится выбирать.

24. 11. 2010.

ЧЕТЫРЕ «П»

* * *

Как хорошо легонько приболеть –
без боли, без удушья, без озноба;
лежать в тиши, в тепле и слушать в оба,
как за стеною жизни круговерть

прекрасненько обходится без нас:
шумит, летит, стремится и клокочет,
и очень допускаю, что не хочет
и нас впускать в свой шумный перепляс.

Без нас просторней, так ведь? И лежи,
не утесняй трамваев и маршруток.
Пусть будет твой досуг и чист, и чуток,
как у юнца «Над пропастью во ржи».

Температура тридцать семь и два,
давление сто восемь. Маловато.
Но землю рыть или колоть дрова
никто не гонит – ты не из штрафбата.

Цени судьбы столь ласковую плеть,
считай себя отмеченным особо:
ведь как приятно малость приболеть –
без боли, без удушья, без озноба...

29. 05. 2012

Пришла пора прощаться понемногу
с луной и солнцем, ветром и травой...
Не паникуя, доверяясь Богу,
что справедлив порядок вековой:

лентяю – спать, искателю – бродяжить,
таланту – взмыть повыше облаков;
но всем – пройти и вновь оставить пажить,
где что ни год – то больше сорняков.

Уйти, не потревожив вероломство,
вражду, удобств обманчивый кумир,
глуша в себе тревогу за потомство,
вступающее в наш неумный мир.

Ведь как мы ни надеемся, едва ли
они умней нас будут... Чепуха!
На нас, наверно, тоже так кивали:
вот – юные, без страха и греха...

Увы, увы... Дворцами из картона
Ещё на исторической заре
рассыпались мечтания Платона,
как позже и фаланстеры Фурье.

В мечтаниях всегда был нежно-розов
грядущий мир, куда не нам идти...
Итак, уйдём, не делая прогнозов,
но всё ж, надеясь... Господи, прости.



* * *

Неужто за нос водит нас природа,
утаивая план секретный свой?
Неужто тяга к продолженью рода
меня толкала к девочке с косой?

Бродить как бы случайно мимо двери
их класса в перемену – ну, а вдруг
её увижу, сам себе не веря,
болтающею с кем-то из подруг

иль книжку достающей из портфеля –
и никакого дела ей сейчас
нет до того, что некий простофиля
(на класс моложе!) не спускает глаз.

Неужто никогда не замечала?
Я ей признался года три спустя.
Всё расцвело и вспыхнуло сначала,
но я, как раньше, был ещё дитя.

Ничуть не рвался к продолженью рода,
лишь любовался, разевая рот,
как польская отцовская порода
в ней красит каждый взгляд и поворот.

Распределили героиню нашу
в далёкий край на стройку горной ГЭС.
Туда ж поехал однокурсник Саша,
имевший к ней серьёзный интерес.

...Года, как реки, то текли, то мчались,
впадая в свой извечный водоём.
почти через полвека повстречались:
я снова был один, они – вдвоём.

Конечно, мы сердечным, тёплым оком
окинули друг друга, но увы –
нас не пронзило многоваттным током
от кончиков ступней до головы,

как это было ранее, когда-то...
Нам было грустно за давнишних, тех,
что были так доверчиво крылаты
не ожидая никаких помех

ни друг от друга, ни от расстояний;
и я один, наверно, виноват
в потере тех многонулёвых ватт,
что стать могли бы нашим достояньем.



МАТУШКЕ МАГДАЛИНЕ, 29. 07. 2010

Живём, минуты жизни множа,
не зная, где, когда и как,
кого отметит Промысл Божий,
на ком поставит светлый знак.

Едва ли думали соседи,
что та девчонка, что стремглав
гоняет на велосипеде,
войдёт в одну из ярких глав

истории родного края,
что, разрастаясь ввысь и вширь,
её заботой расцветая,
восстанет женский монастырь.

А впрочем, и сама девица,
что знала парус и стрельбу,
могла бы сильно подивиться
на предстоящую судьбу.

Но значит, так угодно Богу;
Ему видней, кого послать
на монастырскую дорогу,
нести возложенную кладь.

И вот за срок не столь уж длинный
(на грани двух веков, к тому ж)
Марина стала Магдалиной,
спортсменка – Берегиней душ.

Её заботы многолики,
но с нею в помощь с давних пор
благословение Владыки,
Его заботливый надзор.

И в день рожденья Магдалины,
когда в расцвете вся земля,
в благую сень святой долины
приходят добрые друзья.

Сюда ведут их сердца нити
с одним желаньем – чтоб хранил
и Магдалину, и обитель
Святой архангел Михаил!





* * *

Владыке Анастасию

Вы – человек большого сана;
я знаю: многие из них
предпочитают лишь осанну
или велеречивый стих.

Но при знакомстве первом, встретив
Ваш взгляд – и добрый, и прямой –
себе сказал я: Боже мой,
вот так порою смотрят дети –
с незамутнённою душой,
с доверьем ко всему на свете.

...Был конкурс творчества детей –
и на столах вокруг лежали
их душ невинные скрижали,
раскрашенные без затей.

Вы всматривались в каждый лист
с таким любовным умилением,
что мне подумалось с волнением:
он, как они, душою чист.

И мне пришлось вмешаться: тут
срисовано, а здесь учитель
вложил и свой заметный труд –
ведь я не простодушный зритель:

полвека сам детей учил...
Но этим знанием изнанки
я Вас невольно огорчил,
введя безжалостные рамки.

Вы с грустью соглашались: да,
пожалуй, так, ведь Вам виднее –
терять иллюзии всегда,
всегда немножечко больше,

чем обретать... Но я навек
запомнил это просветленье,
с которым мудрый человек
смотрел на детские творенья.

2017



ИЛЬДУСУ СИБГАТУЛЛИНУ

Обошлись без речей и без музыки –
вряд ли их одобряет Аллах.
До чего же ты длинен и узок
в погребальных своих пеленах!

Из такого уж создан теста:
чтобы выпятиться – ни-ни!
Ты всегда занимал мало места,
оставаясь всегда в тени.

Лишь светились глаза лучисто
чьей-то мысли удачной встречь.
Мудрецы – они не речисты,
раскачай-ка его на речь!

И судьёй я его не видел –
чтобы словом наотмашь бить;
если что-то и ненавидел –
не давал себе вслух судить.

Помогал молчаливо детям,
сам же мыкался по углам.
Всё старался быть незаметен,
а ушёл – стало пусто нам.



ПАМЯТИ ИЛЬДУСА СИБГАТУЛЛИНА

Друзья-коллеги, неужель
успели мы привыкнуть
к той мысли, что его уже
не встретить, не окликнуть?

На нём особая печать
была по воле рока –
Чтобы два лика совмещать:
джигита и пророка.

Он и в большом, и в мелочах
стоял за правду-матку,
хоть и таил в своих очах
какую-то загадку.

Считая ложь за криминал,
он жил, как некий гуру,
и Горького напоминал
поджарою фигурой.

И словно истинный пророк –
и жёлчи чужд, и смеху –
на наши тысячи дорог
смотрел он, словно сверху.

На наших целей мишуру,
на блеск иллюзий зыбкий
смотрел он, как на детвору,
с печальною улыбкой.

Из тех пределов, где сейчас
душа его витает,
мне кажется, он каждый час
за нами наблюдает.

Откуда виденье насквозь
людей и скрытой были?
Но он ушёл – планеты гость,
а мы – спросить забыли.



* * *

В подвальнике под «Детским миром»
душе художника – Сезам;
там, как паломник среди кумирен,
не верю собственным глазам.

Куда ни глянь – готов подарок
для новичков и мастеров:
там краски самых разных марок,
там кисти – всяких номеров!

Пастель – такая и сякая!
Сангина, сепия – изволь!..
И всякий раз, не иссякая,
сквозит в душе глухая боль.

На этот праздничный излишек,
на мир, подобный чудесам,
гляжу глазами тех мальчишек,
каким я был когда-то сам.

Мы, как обманутые, хмуро
глядим из давних тех годов:
Янгайкин Боря, Гришин Юра
и Петя вдумчивый Росков.

Любой из нас завзятым скрягой
берёт набор убогий наш:
альбомчик с плохонькой бумагой
и зачинённый карандаш.

А что до нашей акварели,
до тех кирпичиков сухих,
что размягчаться не хотели –
возможно ли забыть о них?

Их цвет рождает букет вопросов:
в нём не хватало «цветоватт»;
у красной – был он нежно розов,
у чёрной – еле сероват.

Потом слегка поднаторели,
и был поярче на чуть-чуть
набор медовой акварели,
что так манил её лизнуть.

...С тех пор прошли десятилетия...
Уже избаловали нас
приметы нового столетия;
и всё же, всё же – каждый раз:

какие б трубы ни трубили,
восславив новый ярлычок,
среди подобных изобилий
теряюсь я, как новичок.



ОДА ПИВНОЙ

Назад отщёлкните полвека!
Сквозь дрязг туманы и пары
хочу увидеть человека
той полудевственной поры.

Себя я к прошлому ревную:
счастливчик! Где твой стёртый след?
...И вот я вновь вхожу в пивную
с друзьями институтских лет.

Ламанов Гена, Лозин Слава –
их статус крепких выпивох
дарил мне отблеск ихней славы –
что вроде, я и сам не плох

по этой части. Я стараюсь.
А наших тем обширный фронт,
пожалуй, мог бы ввергнуть в зависть
любой сегодняшний бомонд.

Там были Сартр, Камю и Кафка,
Хемингуэй, Миро, Сезанн,
Ремарк, «Писательская лавка»,
что на Кузнецком – вот Сезам!..

...А ныне? Где они, пивнушки?
Где Слава Лозин, где я сам?
Познать бы снова тяжесть кружки
и пену, льнущую к усам.

Там всех равнял питейный вектор:
будь грузчик ты, иль инженер,
писатель, или архитектор,
иль даже милиционер!

Тот, правда, выглядел смущённо,
лишь в кружку глядя из-под век...
Толпа теплела благосклонно:
а что, ведь тоже – человек!

Иллюзия земного счастья:
любой сосед – ворчливый друг...
Ощипок воблы – как причастье
принять из задубелых рук.

...Их нету больше – знаем сами –
пивнушек тех, где дым столбом,
где с вороватыми глазами
вливали водку под столом...

Нет, мы по ним не служим мессу,
но так скажу – уже старик –
мне жалко их, как ту Одессу,
где Фроим Грач, где Бенья Крик...



Небольшая преамбула. У моего отца был друг с пединститутских времён, Иван Михайлович Осякин. Все праздники – вместе. Во время одного из таких визитов сын Осякиных, Валерик, сладко заснул на моей кровати. Сердце моего отца, заядлого фотолюбителя, не стерпело, и он сделал этот снимок. Спустя многие годы, когда наших родителей уже не было на свете, я случайно узнаю, что адмирал Валерий Осякин демобилизовался и стал заместителем главы Калининградской области. А вскоре я наткнулся на крупное фото, побывавшее в своё время на фотовыставке, и написал это стихотворение.

СОН АДМИРАЛА

Закинув ручки, спит Валерик.
Беспечна поза и вольна.
Ему едва ли снится берег
и уж тем более – волна.

Не снится мостик капитанский,
прожектор, целящий во тьму...
Пока что он сугубо штатский
и сухопутный потому.

И кто б увидел в этом малом
далёкий предстоящий путь:
что станет мальчик адмиралом,
что ордена украсят грудь.

... Ещё далёк его фарватер,
с мячом резвиться любит он;
устал, и на моей кровати
вкушает свой безгрешный сон.

*Летом 2012 Валерий приезжал навестить могилу отца,
и мы с ним сфотографировались. Оказывается, и я в свои
13 лет тогда зарисовал спящего «адмирала», и этот рисунок бережно хранится.*



* * *

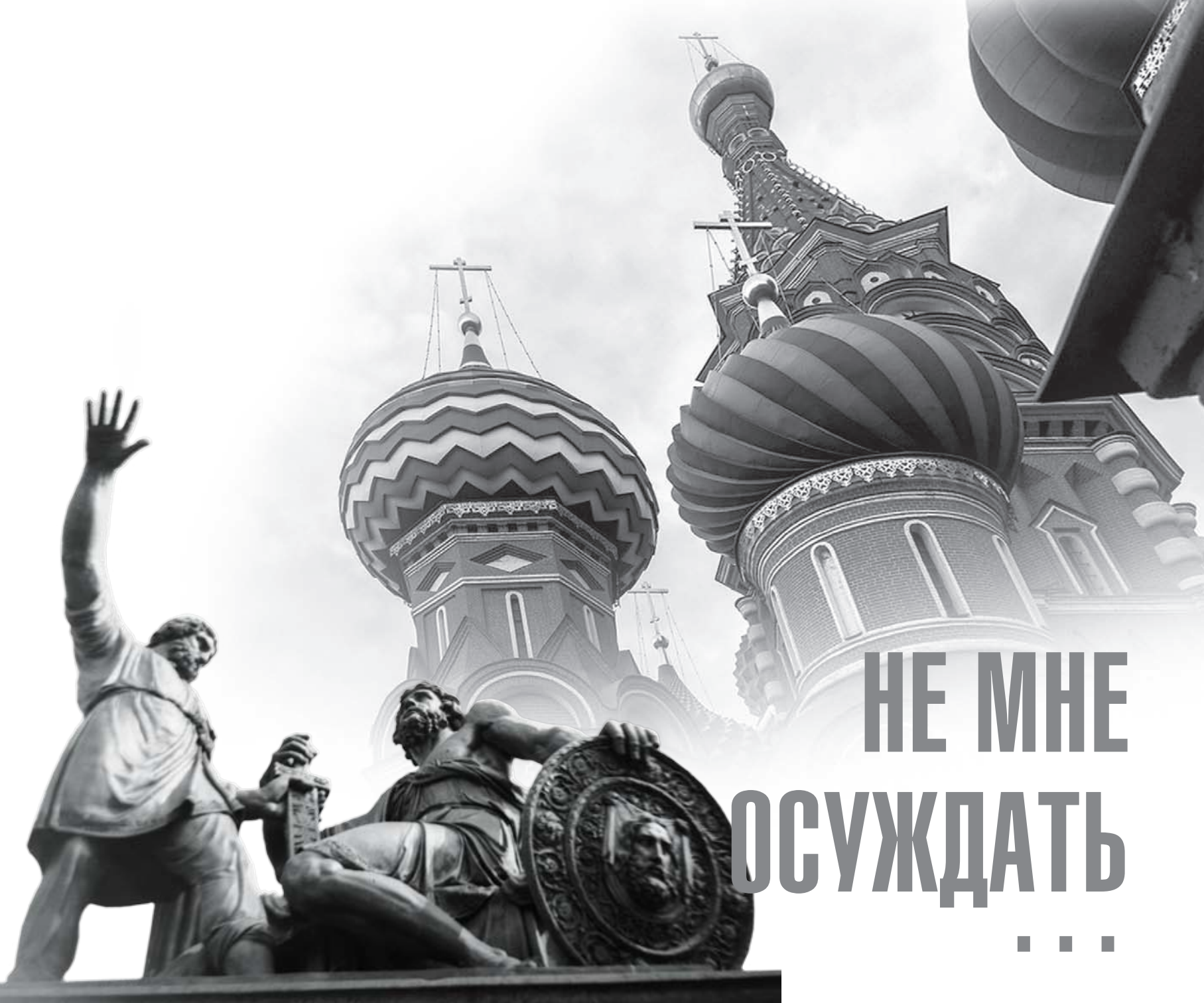
Господи, как красиво
к ночи искрится снег!
Господи, дай мне силы,
малость продли мой век.

Терпишь меня на свете
вот уж который год...
Я заслужил ли эти
горы Твоих щедрот?

Было б ещё неплохо
годиков пять иль шесть
понаблюдать эпоху,
с правнуком рядом сесть.

Кинул бы мне в подарок,
скажем, тысчонку дней...
Что тебе стоит, право?
Впрочем, Тебе видней...

2017



НЕ МНЕ
ОСУЖДАТЬ
...



* * *

Не мне осуждать великана-царя,
окно прорубившего к весту,
сказав, что за немца-голландца зазря
отдал он Россию-невесту,

румяную, сонную – спать бы да спать –
замчѐнную в батюшкин терем,
куда не войдут ни охальник, ни тать,
где чирик – единственным зверем.

К царѐву приезду учить «васиздас»,
затягивать брюхо корсетом,
и ежели чарку хмельную подаст –
не смей отказаться при этом.

...Ударит в головушку зелье-винцо,
и вспыхнет мыслишка шальная:
что даден не на век же терем отцов;
что доля бывает иная...

В немецкой-то вон, говорят, слободе
и девки живут не замчѐны,
и сами по городу ходят везде,
и грамоте ихней учѐны.

Потом, пошушукавшись с младшей сестрой,
на батюшку станет коситься,
и хоть не шатнѐтся родной домострой,
но трещинка в нём прозмеится.

Вдруг батя надолго исчезнет из глаз,
неведомой скручен хворобой,
и будет не ясно, какой «васиздас»
с его приключился особой.

Обычно гремющий, стал тише воды,
но как-то мелькнѐт по-за дверью:
о Боже, на месте густой бороды –
какие-то драные перья!

Однажды замкнѐтся и мрачно запьѐт,
чего никогда не случалось;
тогда не встречайся – жестоко прильѐт
за самую малую малость.

А вскоре, мучительным гневом горя
от горькой томящей досады,
антихристом поименует царя,
и кум донесѐт, куда надо.

Приедут. Отец побелеет лицом
и чашкою звякнет о блюде.
Меж двух офицеров, мертвец мертвецом,
уедет, не чая вернуться.

.....

Был скор на правѣж реформатор крутой,
и дерзких толпа поредела;
и ежели ветки летели щепой,
то лес-то рубился для дела.

Народишко жил – ни двора, ни кола...
Да кто был в России богатым?
Но шли в артиллерию колокола,
и бор обращался фрегатом.

И явственно переменились лицом
стратеги надменной Европы,
увидев взамен сиволапых стрельцов
гвардейцев чеканные роты.

И доблестным шведам настала пора
застыть в изумлении лютом –
когда, как шурыта, галеры Петра
куснули их флот под Гангутом.

Наступит и тот ожидаемый срок,
когда их увенчанный славой
воитель получит кровавый урок
под мирно цветущей Полтавой.

...Он вывел Россию в просторы-моря
крутым поворотом штурвала.
А чтоб осуждать великана-царя –
охочих найдётся немало.



ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

В предсердье российской столицы,
над краем осклизлого рва,
подобно волшебной Жар-птице
взметнулся собор Покрова.

Он ярок и дерзко узорчат,
безудержен, как соловей,
и тонкие носики морщат
эстеты чистейших кровей.

А что ему книжные стили –
он сам себе мера и суть.
...Под ним торопливо крестили
стрельцы покаянную грудь.

И головы клали на плахи,
и рвался над площадью плач,
и в яростно-красной рубахе
умело работал палач.

И, челюсти стиснув до боли,
на этот чудовищный смотр,
на корчи задушенной воли
глядел негибемый Пётр.

И храм словно тенью покрылся,
и смеркли златые кресты,
как будто собор устыдился
некстатной своей красоты.

А были и раньше минуты,
что лучше б и не вспоминать:
позор затянувшейся Смуты,
поляки и тушинский тать.

Тогда все цвета на палитре
смешались, и стало уже
надолго неясно: Димитрий –
он точно Димитрий иль «лже-»?

Не стоила честь ни полушки
до славной минуты лихой,
когда саданули из пушки
его обгорелой трухой.

Тот путь был извилист и длинен,
и был совершён поворот
в те дни, как неистовый Минин
зажѣг полусонный народ.

Призыв его, жаркий и страстный,
сердца россиян разбудил...
Доныне на площади Красной
он к князю взывает: «Иди!».

... Он помнит (от правды не деться,
от горечи не уберечь)
мохнатые шапки гвардейцев,
развязную галльскую речь.

Военной науки новатор,
пробор расчесав по утрам,
угрюмо косил император
на вычурный варварский храм.

Когда ж он был поднят с кровати
(«Мон сир... всё пылает... увы...»),
тот скалился, как поджигатель,
на фоне горящей Москвы.

Всё было – и не позабыто.
Россия осталась жива.
Отцокали вражьи копыта,
отстроилась снова Москва.

Ушли времена лихолетья.
Проворный московский народ
спокойно бродил всё столетье
у Спасских и прочих ворот.

Но кануло время покоя,
в забвенье ушла благодать.
Нежданно свалилось такое,
что Боже, не дай увидеть.

Уже не французы, не ляхи –
свои убивали своих.
Погоны да бант на папахе –
всего-то отличья у них.

Сбивали орлов золочёных
с торжественных башен Кремля,
Жгли храмы, ссылали учёных,
хозяев забыла земля.

И с горькой немой укоризной
на этот кровавый раздор,
на эту безумную тризну
глядел величавый собор.

Под сенью кровавого флага
глухие составы везли
в могильные дали ГУЛАГа
сынов этой горькой земли.

Застенков железные лапы –
и сталинских строек размах...
Этапы, этапы, этапы –
в Сибири и в календарях.

...И снова гудят перекааты
в запруженном русле страны;
бесстыжие снова богаты,
а честные снова бедны.

Обрушен недремлющий Феликс,
сменился названий набор,
но, как несгораемый Феникс,
всё ярче пылает собор.

Он выше раздоров – и ныне
его величаява статья
велит не поддаться унынию,
мешает растерянным стать.

Как меч, вознесённый из ножен,
как колокол тот вечевой,
крестами сверкнёт: переможем!
Стеной прогудит: не впервой!

И если всё горше и плоше
та смесь, где и дёготь, и мёд,
придите на Красную площадь –
он ждёт вас. И верю – поймёт.

1990-е

XIX ВЕК

Девятнадцатый век,
где ты брал свои соки
для сверкающих вех
и стремлений высоких?

Что тебя вознесло
над российской землицей,
где злодею назло
полыхает столица?

Как цветущий тот куст
полон был голосами
незапятнанных уст
под лихими усами,

где сплелись не во вред
строфы дивных мелодий
и горячечный бред
о народной свободе!

Где от пúлевых жал
к целованию ручек
отдохнуть приезжал
гениальный поручик,

так же вставший под ствол,
наведённый французом,
как его божество
в сюртучишке кургузом.

И когда он челом
 пал в кремнистую глину,
его Демон крылом
 затуманил долину.

А полвека спустя
 серафимом печальным
загрустил, как дитя,
 на холсте гениальном.

За спиною – коралл
 неземного заката.
Это век догорал
 пышно и виновато.

Уходил этот век
 в треволнения и убыль –
и на скалы и снег
 бросил Демона Врубель.

Ибо нежный бутон,
 увлажняющий веки,
распускался лишь в том –
 девятнадцатом веке.

2013

«АХ, АЛЕКСАНДР...»
(сетования дилетанта)

«...а далеко на севере, в Париже...»
А. С. Пушкин. «Каменный гость»

Дохнуло небо сыростью суровой,
заполонили тучи белый свет,
и голуби нахохлились, как совы,
усеяв тротуарный парапет.

От ветра дальше и к земле поближе.
Ушла пора воздушных виражей.
Уже давно, как не видать стрижей,
а далеко на западе, в Париже,

где каждый русский побывать мечтал,
наверное, совсем-совсем иначе:
Гольфстрим, их отопительный канал
всегда включён, а это много значит.

Хоть не цветёт там нежный олеандр,
зато и холод не корёжит спину.
Ах, почему наш кроткий Александр,
заняв Париж, тотчас его покинул?

Освоил бы снаружи и внутри,
дал русские названия регионам,-
и стал бы он столицей номер три —
для тесного сношенья с Альбионом.

А коль французу немец не камрад,
то, чтоб Европу сделать мирным полем,
в Германии бы ввёл протекторат
при нашем неназойливом контроле.

Прохлопал царь имперский интерес,
и потому историю тревожу,
что этот наш холуйский политес
ещё с Петра нам въелся в кровь и кожу.

Как Александр любезен – нету сил!
Захватчики ему – что братья наши.
Ведь он, поди, прощения просил
за бороды, за дым солдатской каши.

А кто к нам шёл с наточенным штыком
и кто в конюшни превратил соборы?
Москва сгорела! Ну и о каком
джентльменстве тут возможны разговоры?

Да что дома! Средь огненного ада
святыни шли дымами к потолку!
Сгорела даже наша «Илиада» –
прославленное «Слово о полку»!

Ведь мы по их захватничьим следам
сюда пришли, и чуть не каждый ранен.
«Ах, это знаменитая Нотр-Дам?
Позвольте, мы на цыпочках заглянем...».

Казачьи кони сделали «ка-ка»
на пляс Пигаль* – не смыть того конфуза!
А дым Москвы, затмивший облака,
не выел очи каждого француза?

Они скорбят об этом? Да никак –
они почти что в праздничном угаре:
«Смотри, Мадлен, вот это – "ша-ро-ва-ри",
а сам он называется "ко-зак"».

И семьями, как будто в зоосад,
смотреть ходили на пришельцев странных;
а те, забыв о тяготах и ранах,
посасывали крепкий самосад.

И тоже наблюдали: «Погляди,
Петрович, вон на эту мамзельку,
чья голова закручена в кудельку –
ни спереди у ней, ни позади...».

«Куды ей до Никитишны моей!
Она троих подобных перевесит.
А ведь уже, гляди, который месяц
мы тут торчим... Домой бы поскорей!

Ни хлебушка у них, ни шей горячих.
Клюют, как птички, да сосут вино.
Нестоящий народ, а вот не спрячешь:
на равных бились под Бородино!

Ну, мы-то ясно: за Москву святую,
за Божьих храмов сорок сороков,
а им-то землю поливать чужую
своею кровью – им резон каков?

А вспомяни, как пёрли – инда страшно.
Ни пушек не боятся, ни штыка!..».
«Что есть, то есть: народец бесшабашный.
Теперь ему наука на века».

...Казак французу подмигнёт хитро –
и тот, смутясь, торопится подальше...
Прошли два века, и одно «бистро»**
напомнит, что мы были тут и раньше.

*place Pigale — парижская площадь.

** Слово, производное от русского «быстро».

РАЗМЫШЛЕНИЯ СКЕПТИКА О Д. В. Д.

Лукавил ли Васильевич Денис?
Пиарил ли? Наверняка, пиарил:
ни голоса для басовитых арий,
ни денег на блистательный каприз.

Ни роста, низвергающего дам,
ни сколь-нибудь значительного чина...
Что сделает талантливый мужчина,
ударенный столь сильно по рукам?

Лишь Марс подкинет козырные карты
тем, кто от пуль не бережёт мундир.
Поручиками служат Бонапарты,
что позже перекраивают мир.

Вот и Суворов. Разве долгомер?
(Как памятна та встреча под Грушёвкой!..
Был май, и соловей в забвеньи щёлкал...).
Вот и из царства птичьего пример.

Хоть мал и сер, в пучину листьев канув,
ему внимает весь подлунный мир.
И Бонапарт был не из великанов —
Европы сотрясатель и кумир.

Ему плечо подставила однако
История: когда бы не Конвент,
кто б посадил неизвестного служаку
верхом на исторический момент?

У нас ни Бонапарта, ни Конвента
не может быть — Россию не шатнуть;
и, значит, остаётся только это:
стихи в альбомы и кресты на грудь.

Стихи в альбомы явно безопасней,
зато сатира — явный криминал:
как погорел он со своею басней
про Голову и Ноги — кто бы знал!

Зато теперь учён — долой сатиры!
Пускай примером будет Эпикур:
на звон бокалов перестроим лиру,
на свист стрелы, что выпустит Амур.

Ну и, конечно, атрибуты Марса:
батальный дым и молнии клинков,
чтоб в дамских душах трепет подымался:
Денис Давыдов — знаете, каков?

Да так и вышло: «Как? Денис Давыдов?
Да где он? Поскорее покажи!
Вон тот малыш?» — и словно бы обида
касалась романтической души.

Но слава нарастала неизменно,
хоть скептики и уязвляли так:
мол, он поэт отличный для военных
и доблестный вояка для писак.

Мол, твякнул на царя во время оно —
словил пинок и боле не дерзил:
стал адъютантом у Багратиона
и доблестно бумаги развозил.

А перед самой битвой Бородинской
придумал крайне «дерзновенный» план:
в лес увести отряд кавалерийский,
чтоб теребить французов по тылам.

И получил отряд, и бой не видел...
А на обозы – соколом летел!
Вот, правда, Главный штаб его обидел
и генералом сделать не хотел.

Но обошлось (похлопотал Закревский) –
надел давно заказанный мундир
и сел писать меморий, крайне резкий,
как опытный стратег и командир.

И сам себя воспел во предисловьи
к своим стихам: «Давыдов – он какой?
Когда не пахнет дымом или кровью –
он мирный душка и поёт покой.

Но грянет гром войны – и где Давыдов?
Он в сече, на коне, он впереди!..».
Вопрос: такое предисловье выдав,
не чуял он смущения в груди?

Наверно, нет. За свой писклявый голос,
за малый рост – возмездие воздам!
И стих звенит, как золотистый колос,
и розовеют щёчки томных дам.

История с годами – как потёмки;
сквозь дым войны не видишь груди тел...
Виват, Денис! Далёкие потомки
узрят твой образ так, как ты хотел!

Да и кому нужны теперь сравненья
наружных блёсток с истиной внутри?
Два века промелькнули, как мгновенья...
Цари, Денис Васильевич, цари!

АВГУСТ ШОДЭ

(автор здания краеведческого музея в Ульяновске)

Неподкупные строгие очи,
безупречно отточенный ус.
С императорским именем зодчий;
русский зодчий, хотя и француз.

Губы сжаты в упрямые складки,
тень заботы на строгом лице:
надо выверить циркульность кладки
круглой башни на волжском Венце.

«В жизни раз выпадает такое:
словно боги вручили заказ,
что владеет моею душою –
всей душою, а не напоказ».

Ах, как эта задача манила!
И в глазах рисовалась уже
цилиндрическая кампанилла
с куполком, как яйцо Фаберже.

Пробивалась идея не гладко,
через буйный раздор голосов,
но уж с год поднимается кладка
за решётчатой клеткой лесов.

Как там будет светло и просторно!
Пусть пока что зияет провал
там, где лестница ляжет покорно,
отражаясь глазами зеркал.

Интерьер прорисован детально,
и получится, чую нутром,
и изящней, и монументальней,
чем построил в Саратове Штром.

Там отделано славно, чего там,
но одно не годится в пример:
чудо-лестница там – с поворотом,
и она сожрала интерьер!

Думал: как бы придумать мудрее,
и вдруг ясного стало ясней:
нет у них обходной галереи,
а насколько параднее с ней!

Наша лестница ляжет каскадом,
а с плафонных сияющих рам
хлынут солнца лучи водопадом
в этот светом наполненный храм!

Ах, скорей бы, скорей бы достроить,
ибо есть на Руси мастера,
чтобы смог вестибюль наш поспорить
с ослепительной Гранд Опера!

Где число окончательной даты?
Ведь беда, как всегда, не одна:
мастеров забривают в солдаты –
громыкает большая война.

Похоронок приходит немало,
опустели поля и сады...
Ах, маэстро, всё это – начало,
лишь начало российской беды.

Вот влетит на тачанке-повозке
«боевой восемнадцатый год» –
и, спасаясь в застуженном Омске,
Вы по горло хлебнёте невзгод.

Ни в какой не опишешь балладе
то, с чем справиться не было сил.
Тиф косил, на дипломы не глядя –
вот и Вас в одночасье скосил.

Лишь снежинки Сибирь положила
на покой в измождённом лице...
Неизвестно, где Ваша могила,
но Ваш памятник здесь, на Венце.

И не только. Гуляя, глаза,
что-то Ваше повсюду найдёшь:
в доме Штемпеля – чинность музея,
в зале банка – ребячий галдёж.

Раздаётся то громко, то тихо
Мендельсон из Шатровских окон.
Там – краснеет суровая кирха,
там – дворянский стоит пансион.

...Мы со всею сердечною силой
читим, маэстро, Ваш дар красоты,
твёрдо веря: над Вашей могилой
непрерывно кустятся цветы!

2014

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДЕВЯТНАДЦАТОГО

Где ты, Аустерлиц? Где гордец-человек?
Где знамёна и дым боевых декораций?
В кропотливость дельцов, в суету махинаций
сехал прямо на нет девятнадцатый век.

Как струился штандартов возвышенный шёлк!
Как с конём белогривым делили отвагу!
Как блистали кирасы! Но срок отошёл:
трёхлинейка дырявит их, словно бумагу.

Вместо удали боя – шуршанье бумаг,
вместо грозных имён – чехарда псевдонимов;
даже слово «дуэль» – этот рыцарский знак –
отнесли торопливо к разряду гонимых.

Вспышки гнева сменили на тайную злость;
страсть – на точность цифири в итоге альянса;
даже время уже не галопом неслось,
а уютно тряслось в духоте дилижанса.

Только женскому сердцу не скажешь «умри»;
их о счастье мечта и грозна, и туманна.
И глотает мышьяк госпожа Бовари,
и с перрона шагает Каренина Анна.

Если женщины – лани, мужчины – слоны.
Вечно прут напролом, туповато-могучи;
и хотя в железях, как прежде, сильны,
долы женщин просторней и выси покруче.

Знать, не мускулатурой силён человек;
не прибавят отваги ни кепка, ни брюки;
знамя чести и гордости, видно, навек
перешло от мужчин в их надёжные руки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ (вариант)

– Я кашляю, к тому ж, наелся луку,
поэтому не буду целовать.
Я перенёс тяжёлую разлуку.
Стели, жена, двуспальную кровать.

Зачем в изгибе губ такая горечь
и взоры тяжелее колымаг?
А, женихи... Финал пора ускорить.
Мой лук ещё на месте, Телемак?

Двор запереть, чтоб никуда не деться.
Я их не звал сюда, в конце концов.
И здесь не избиение младенцев,
а укрощенье наглых жеребцов.

За душу, что изъела мне чужбина,
за всё, что здесь терпели сын и мать,
свисти, стрела, и помогай, Афина,
чтоб было что Гомеру описать.

2010

ДАГЕРРОТИП

Так вот наш город в старые года –
на сильно потемневшем фотоснимке.
Сменилось столько зданий! Что ж тогда
сказать о бренной суетной начинке?

Той самой, что рождалась и жила,
скандалила, мирилась, ликовала;
а коль была планида тяжела –
сутулилась, мрачнела, выпивала.

Хотя порой шкафы и сундуки
ещё хранят солидную осанку,
но не гудят фабричные гудки,
будившие хозяев спозаранку,

и нет самих хозяев. Спят они
навечным сном вот именно – в глубинке,
и в этих снах едва ли живы дни,
застывшие на этом фотоснимке.

Теперь совсем иные расцвели
хозяева (которых не просили),
хозяева заводов и земли,
курортов, банков да и всей России.

Куда-то жизнь страны пошла не так –
растут нервозность, грубость, раздраженье...
Какой мудрец (а может, и простак)
потомкам даст её отображенье?

...На фото же покой и тишина.
Все вроде и под крышею, и с хлебом.
Никто не знает, что грядёт война,
и царский трон ещё не поколеблен.

И храмы там и тут поверх голов
над городом стоят в порядке строгом,
и будто слышен звон колоколов,
зовущих горожан на встречу с Богом.

А ведь пройдёт каких-то года три –
и, как гроза июльской душной ночью,
назреет смута, зревшая внутри,
и, грянув, разорвёт Россию в клочья.



БОЕВОЙ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Над пальцами нежно корпели,
читали стихи до утра...
ушли времена рукоделий,
обрушилось время утрат,

доносов, арестов и ссылок
безадресных – и не ищи –
и выстрелов в чуткий затылок
в ночной напряжённой тиши.

И мать, спотыкаясь убого,
сынку уводимому вслед,
ещё не решалась у Бога
потребовать ясный ответ:

как этот мужик, самогоном
разящий, с мозгами быка,
посмел прикасаться к погонам,
оплаченным кровью сына?



НА ТЕМЫ БИЧЕВСКОЙ

Вот они и сбылись,
все дурные пророчества.
Пистолет у виска
пляшет вместе с рукой.
Ведь Отчизна одна,
не меняют её, как и отчество;
а покоя отныне не даст
даже вечный покой.

Крым, последний оплот,
пошатнулся и падает.
Это грозная кара нам всем
за забвенье Христа.
И по балкам степным
офицерики падалью;
их обчистят – и в яму, как скот,
не поставив креста.

Кто убит, кто ушёл –
опереться не ёбо что.
В конском рае с неделю
мой друг вороной.
И на выжженном небе
не будет ни облачка
над меня потерявшей
родной и несчастной страной.

СПОР ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Чуть повымрут жертвы террора –
Палачи приподымут взор,
И начнутся рулады хора:
«Что вы всё – террор да террор?

Что заладили про Гулаги?
Что уперлись в тридцать седьмой?
Ведь пеклись о народном благе,
Всё ж для этого, боже мой!

Ну а где, прости, без ошибок?
Лес рубить, не сронив щепы?
Жизнь ведь не из одних улыбок:
Даже роза таит шипы.

Однобоко так не судите,
Толерантнее б и т.д...
В положение к нам войдите,
Сядьте в кресло НКВД.

Вот бумага, чернила, ручка.
За окошком – разбой пурги...
Исторической! Наших – кучка,
А вокруг – где ни кинь – враги.

Те с оружием, а те – таятся,
Но воспрянут в любой момент.
Так что лучше – пускай боятся:
Я подписываю документ.

Там, конечно, мамыши-дочки
Налетят умолять и клясть.
Но ведь надо расставить точки?
Вот и ставим. Поскольку – власть.

Это ж всё – для великой цели,
Для грядущих безмерных благ!
И чекист, хорошенько целя,
Повторял, что напротив – враг.

Были, ясно, и перегибы –
Неизбежное естество...
А без этого не смогли бы
Ни вот этого, ни того...

Эта справочка из анналов
Всех хулителей посрамит:
Ширина и длина каналов
И величие пирамид...

А размах триумфальных арок!
А фигуры вождя – в версту!
Мы ж готовили вам в подарок
И величие, и красоту!

Как прекрасно „Петра творенье“!
Но и трупов под ним – гора.
Что же пылкое ваше рвенье
Стороной обошло Петра?

Так что бросьте свои стенанья;
Ведь история – как качель:
То хула, а то величанье
Тех, кого хулили досель.

Мы лишь винтики той системы...
Всё решается наверху...».
...Ах, как доводы эти ценны
Тем, чьи рыльца в густом пуху...

* * *

Идёшь навстречу колющей метели,
и что-то даже душу веселит:
любезные, а вы чего хотели
в краю, где строй – извечный инвалид?

То царь казнит мятежных декабристов,
за мужичка рискнувших головой,
то мужичок крушит, от зла неистов,
того же декабриста дом родной.

И вот по всей стране неразбериха:
с германцем – мир, а меж своими – бой;
и мужичку не отсидеться тихо:
то те, то эти загоняют в строй.

Коня отымут, в руки – трёхлинейку,
а убежишь – поймают, – и в расход.
Метель, метель... И по миру семейка
расходится в безрадостный поход.

Война утихла, подросла полоска
хорошей ржи, печётся каравай...
Но вихрем налетает подразвёрстка:
– Отдай зерно! – и ворошит сарай.

А коль, трудясь, добился ты достатка,
завистники, на подлости легки,
тебя запишут прямо в кулаки,
сошлют туда, где носят номерки,
и всё добро растащат без остатка.

Война-война... Беда на всю Россию.
Мужицкий долг – в строю с винтовкой встать.
Их насмерть миллионами косили,
и инвалидов не пересчитать.

А уцелел – паши, мой дорогой,
паши и сей в своём колхозе нищем;
без паспорта ты – чёлн с пробитым днищем,
и из своей деревни – ни ногой.

Ты голосуешь – в лучшей из отчизн –
за счастье проживать в стране Советов,
где вождь в Кремле от света и до света
прокладывает трассу в коммунизм.

Но он почил – неслыханное дело!
Всё ж сельские мудрее городских:
они в Москву не мчались оголтело,
у них забот хватало и других.

И вышло так, что очень кстати боги
его сложили посреди венков:
дал паспорта и сократил налоги
неведомый Георгий Маленков.

Потом Никита взялся за колхозы:
все мелкие – закрыть и расселить.
То агрогорода, то совнархозы... –
его и погубила эта прыть.

Коллеги по Кремлю уже устали
шарахаться. Возжаждали покой.
И выбрали: не Ленин и не Сталин,
а – Брежнев, представительный такой...

Он – не Хрущёв – не тяготел к земле –
но Космос – наш, и целину подняли;

генсеки друг за другом умирали:
видать, бессмертных нету и в Кремле.

А молодой – затеял перестройку:
оно б и славно, если был бы план...
Да и не разогнать Россию-тройку
тем, кто привык шептаться по углам.

На простака нашлись умельцы вскоре:
подставили, а за его спиной
всё поделили: землю, реки, море,
пообещав растяпам рай земной.

Припомним голодуху девяностых,
припомним танк, разнёсший Белый Дом...
В России никогда не будет просто:
в ней вечны авантюра и содом...



ПИСЬМО С ФРОНТА

Какая осень мерзкая пора!
В окопах грязь, и сапоги по пуду.
И сеет, сеет с самого утра...
Была б еда – удобно мыть посуду.

Который день ни взад и ни вперед;
видать, и немцы тоже подустали.
Оружье – да, но сами не из стали:
передохнуть и им пришёл черёд.

Беда, что немцы выше нас сидят,
и блиндажи посуше и покрепче.
Чуть высунешься – пулями гвоздят...
О наступленьи нет пока и речи.

Два дня как схоронили Кузьмича.
Писать его жене пока нет силы.
И, словно поминальная свеча,
стоит репей безлистый у могилы.

Разведка притащила языка.
Что было в ранце, потрошили скопом;
и сладкий дым чужого табака
вital над обовшивевшим окопом.

На снимке фрау около крыльца –
весёлая, ну, прям, Любовь Орлова.
Цветы, перила – будто у дворца,
а сам тупой: по-нашему – ни слова.

Комбат сказал, что скоро сменят нас.
Который раз уж это говорится.
Уже почти не верится сейчас,
что сможем обсушиться и помыться,

почистить сапоги и ППШ,
и выбросить прокисшие портянки...
А вот уйдём – и засвербит душа
за тех, кто в наши сменится землянки.



* * *

Мы – дети обесчещенного века,
который не сумели защитить,
поверив увереньям человека,
что в новой жизни скоро будем жить.

Он был скорей наивен, чем неистов;
зоя вперёд, под ноги не смотрел.
Угрюмым недоверьем коммунистов
он не болел – на том и погорел.

За ним пришли нахрапистей и круче:
– А ну хватай, поделимся потом! –
и разнесли из танка Белый дом,
и положили неповинных кучи.

Делёж идёт, и нет ему конца,
и лишь о нём серьёзная забота;
и у миллионера-подлеца
при виде «быдла» – скучная зевота.

И верит ведь, что это он умом –
не прохиндейством – нажил эти виллы...
Всё это было. Барство, и погром,
и мужиков разгневанные вилы...

* * *

Не надо упрощать явления природы,
как Дарвин со своей лопатой-бородой,
где каждый волосок отдельной стоит оды,
в отличие от башки, упёртой и седой.

Луна – унылый шар тяжёлой мёртвой пыли?
А кто ей даровал чарующую власть,
чтобы в её лучах томились и любили,
и сила этих чар ещё не прервалась?

Кто ноты диктовал косматому титану,
от коих до сих пор заходится душа?
Не сам ли Тот, кому Бетховен пел осанну,
чертя хоралы чувств концом карандаша?

Тупой матерьялизм, к несчастью, из моды
ещё не весь ушёл, ещё грозит, седой...
Не будем упрощать явления природы,
как Дарвин со своей лопатой-бородой!



СМОЛЬНЫЙ

*Главный штаб революции размещался в здании
бывшего Института благородных девиц.*

Институт благородных девиц,
где твои мадемуазели?
Вместо их утончённых лиц -
шапки, бороды и шинели.

Вместо белых воротничков
и изысканного прононса
виден чёрный бушлат матроса,
слышно оканье мужичков.

Только в их толчее, лишь тут,
сокративши своё название,
ты навек обрёл, институт,
своё истинное призвание.

Лишь сейчас объяснилась та
величавая суть фасада
и колонн твоих прямота,
и насуспенная аркада.

...И, как радостный человек,
осознавший своё призвание,
словно вдруг распрямилось здание
и вдохнуло в себя навек

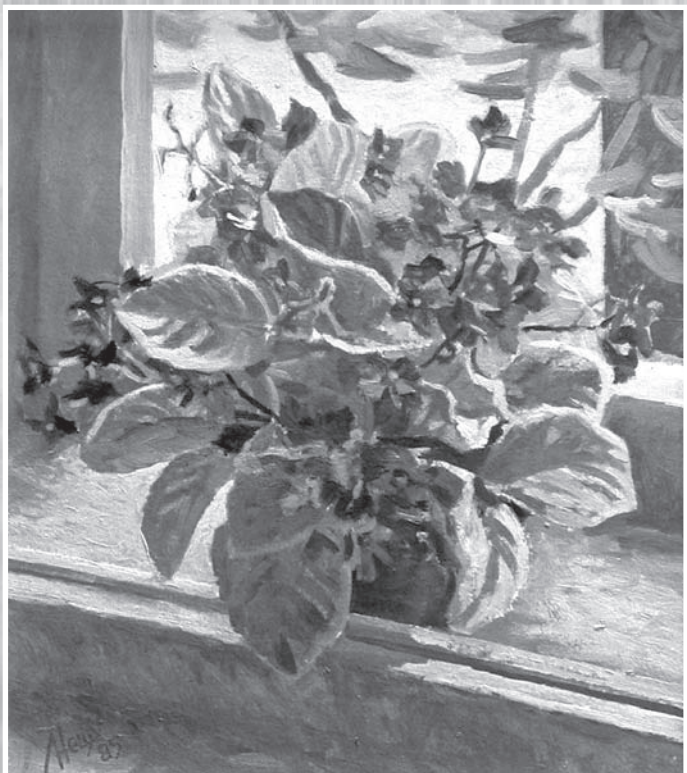
этот воздух смолёный, вольный,
этот рокот броневиков,
это краткое имя - Смольный,
штаб восставших большевиков.

* * *

Всё мне кажется, что Кваренги
был как будто совсем не рад,
тонко выкрасив акварелью
величавейший свой фасад.

Всё мне кажется: он невольно
оглянулся и вздрогнул тут,
чётко выведя слово «Смольный»,
перед тем, как писать «институт».





**БУДЬ
ХОТЬ
ТЫСЯЧУ
РАЗ
ВОСПЕТ
...**

* * *

Будь хоть тысячу раз воспет
у каминов и камельков –
вечно трогателен букет
из ромашек и васильков.

Не сравнятся – какой вопрос! –
сколько б по миру ни искал –
ни богатство пурпурных роз,
ни надменность холодных калл.

Те похожи на важных свах
(в них доверия не ищи).
Их вручают на торжествах,
эти ж запросто... от души.

И сколь ни было в мире пар,
звал их вечером на лужок
не трезвон золотых литавр,
а пастуший простой рожок.

2010

* * *

Безветрие. Дымами кружевными
курчавятся деревья меж домов.
Волшебница-Зима! Лишь это имя
подходит ей точнее прочих слов.

Сугробов величавые овалы
и воды рек под матовым стеклом
замерзла и заколдовала,
весь Божий мир одела хрусталём.

При солнце даже и глядеть опасно,
и всё-таки – скорее бы весна!
Стерильно. Чисто. Холодно-прекрасна
безжизненная эта белизна.

А как уютно сеном пахнет в хлеве!
Как лёгок пар дыхания коров!
И разъярённой Снежной королеве
не по зубам смиренный этот кров.



* * *

Чёрный шмель с золотым ободком,
что ты делаешь на тротуаре,
привалившись нелепо, бочком,
точно бомжик в похмельном угаре?
Что тебя вообще занесло
в наше каменно-душное гетто?
Как ты бросил своё ремесло
пастуха мимолётного лета?

Отчего ты недвижим, царёк
иван-чая и чертополоха?
Не с того ль тебе губительно плохо,
что от них ты сегодня далёк?

Видно, холод чужбины сковал
певчих крыльев прозрачные дуги.
...Так, наверно, Шамиль тосковал
в заметённой снегами Калуге.

2016

СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ

Редко где таится тень
пятнышком несмелым.
С неба густо третий день
сыплет белым-белым!

Под ногами белый пух
без конца и края.
Пробудился русский дух,
кровушкой играя.

И под восемьдесят лет,
старший в околотке,
Снег сгребая, сивый дед
подмигнул молодежи.

А она, сдержав шажок,
улыбнулась мило
и рассыпчатый снежок
в деда запустила.

Дед шапчонку набекрень –
был и я, мол, ухарь!
И дела его весь день
шли в отличном духе.

* * *

...И снова запустил с утра
снежок доверчивый и чистый.
И снова помыслы лучисты,
и жизнь – подруга и сестра.
Выходишь за порог – и мнится,
что жизнь лишь только что дана,
и тротуаров белизна
лежит, как новая страница.



ЗАРИСОВКА

Бодрит ноябрь Бореем моложавым.
Не скоро небо станет голубей.
Как гармонично сизое на ржавом:
поверх газона – стайка голубей.

Пёс пробежал – и сизое сгустилось,
подвинулось, и странен лишь один
календарю не сдавшийся на милость
весьма неугомонный господин.

Уж так-то он ретиво нарезает
вокруг голубки узкие круги,
урчит, воркует, перья распускает
(в преддверии морозов и пурги!).

Она на всё на это ноль вниманья –
на пыл его, на перьев дутый шёлк...
Да вроде, вот и он пришёл в сознание –
и в сторону подальше отошёл.

2010

* * *

Лежит усталая собака
на мостовой, не чуя ног.
Весь мир ей – словно кулебяка,
запрятанная под замок.

Какие запахи из окон!
Из сумки тётки с малышом!
Зачем в стремлении высоком
Господь собаку обошёл?

Не дал ей руки, речь, одежду –
чтоб пёс купил, чего хотел,
и не шнырял трусливо между
двуногих недовольных тел.

А эту тётку, что на внука
рычит и лает – обменять
на пса, и будет ей наука
свой ранг потерянный ценить!

25.04.08

* * *

Жестчает время день ко дню;
был кактус мощным и высоким –
и вот сломался на корню,
пол оросив молочным соком.

Что кактус? Тополь за окном,
мой величавый собеседник,
в грозу, под страшный треск и гром
накрыл собой гараж соседний.

И город словно бы робел
прийти с пилою, как с повинной –
он целый месяц зеленел
горизонтальной половиной.

Теперь зима. И чем она
одарит нас? Скрипучим снегом
и бойкой тройки резвым бегом?
прошли благие времена.

Не только ямщиков и троек –
нет даже дворников. Историк,
попомни наши времена,
где в век прогресса и науки
испытывают люди муки,
вывихивая ноги-руки,
чуть выйдя и споткнувшись на

буграх обледенелых кочек,
воскликнув (тут понятный прочерк)
про чьё-то кровное родство...
Так протестует естество
противу мук, противу боли;
и хочется вскричать: «Доколе?!».
Но кто ответит? Нет его...

* * *

Одуванчики начисто сдуло,
рощи ждут золотого огня,
и незримое времени дуло
всё внимательней целит в меня.

И в меня, и в тебя, и в любого;
только кто в молодые года,
даже слыша жестокое слово,
про себя не шептал: «Ерунда...»?

Но теперь, отдыхая от прыти
навсегда отшумевших годов,
можем в зеркало глянуть открытой
и спросить молчаливо: готов?

Вот и умница: как ни цепляйся,
ветер времени не удержать,
и мудрее – спокойно разжать
некрасиво сведённые пальцы.

Бросить по ветру дат и имён
прах, что стал и докучлив, и едок,
и, отдавшись потоку времён,
наглядеться на мир напоследок.

2012

СНЕГОПАД

За что к нам, мелочным и злым,
с небес спускается награда –
волшебный этот белый дым
цветов божественного сада?

Плывут, мерцая, лепестки
на нашу грешную обитель,
где столько злобы и тоски,
что предпочёл уйти Спаситель.

Но столько красоты окрест
и в каждом ледяном кристалле,
что, зная, ещё последний крест
на нас, безумных, не поставлен.



ЛЕТО 2010-ГО

Что же, как не Божья кара,
как не судная пора –
дни безвыходного жара
от утра и до утра?

Над Россией встало время –
над тобой и надо мной.
Сушит мозг и плавит темя
как плита нависший зной.

День за днём печёт без меры
солнца жгучая слюда.
Глохнут кондиционеры,
в крапах кончилась вода.

И кого назвать тут крайним,
виноватым – не спеши:
сами, сами Землю травим
хуже моли и парши.

Не даём животным воли,
губим реки и леса...
Так что пальчиком всего лишь
погрозили небеса.

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

(вид с 18-го этажа)

Не нужны водопады и горы;
рано утром в окошко взгляни,
как серебряный утренний город
зажигать начинает огни.

Серо-дымчатый, зимний, туманный;
даже улица еле светла
там внизу, за оконною рамой,
за холодным экраном стекла.

Высота. И раздолье для взора:
он внизу, городской окоём.
Как красиво зажглись семафоры
изумрудным зелёным огнём!

И машины всё чаще мелькают.
Словно глазки волшебных зверьков,
нежно светятся и пробегают
звёзды сдвоенных их огоньков.

Этой дивной гармонии цвета,
этих нежных жемчужных тонов
не дано многошумному лету,
слишком падкому до обнов.

* * *

Как ни штурмуешь словаря редут,
итог не выше среднего конфуза;
но веришь, что когда-нибудь придут
слова, которыми лепечет муза.

Всё веришь, что когда-нибудь придёт
святое простодушное наитье –
как музыка, с которой дождь идёт,
а клавишами – трепетные листья.

И те слова, как дождь, проистекут –
иль мелким сеевом, иль сразу как из бочки;
и станет видно: не исправить тут
ни запятой, ни слова и ни строчки.

Когда бы так... А ведь уже седой.
Клади перо, исчерпаны все сроки.
...А где-то кто-то очень молодой,
спеша, выводит золотые строки.

ЗИМОЙ

Глаза сечёт игольчатой крупой,
и под ногами хруст столовой соли.
Идёшь навстречу ветру, как слепой,
меж каменных домов, как в чистом поле.

И можешь ли представить в этот миг,
как на предмет погоды так же ноя,
твой более удачливый двойник
в тени от пальмы прячется от зноя?



* * *

Коль ночью не даёт уснуть тревога –
оденься, выйди, глянь: на небесах
бесчисленные знамения Бога
горят на отведённых им местах.

Они в своей неколебимой славе,
брильянтами в небесном серебре
горели так же и при Ярославе,
при всех Иванах и царе Петре.

Что им земные наши перемены,
метания ничтожных мотыльков?
Горят – и не теплы, и не надменны –
и до, и по скончании веков.

Не обозреть цветы небесных грядок,
но их Садовник знает точный счёт.
Наш шарик тоже вписан в их порядок,
есть и ему свой номер и учёт.

И у подножья боговых скрижалей,
обозревая вечности чертог,
почувствуешь ничтожество печалей,
сомнений и любых иных тревог.

* * *

Утро раннее. Солнце, блистая,
смотрит дружески сбоку, не вниз.
Трепеща, осыпается стая
голубей на соседний карниз.

И сидят безупречною строчкой,
и неожиданно взмывают опять –
видно, стать растворимою точкой
так и манит небесная гладь.

И нигде не течёт Брамапутра,
и нигде не ползёт скарабей –
только это рассветное утро,
только гомон и плеск голубей.



* * *

...Идешь, не ждя особого подарка,
и вдруг с высот, что нету голубей,
обрушится лавина голубей –
погуще, чем на площади Сан-Марко.*

И в эпицентре крыльев хлопотанья
не вдруг поймешь, за что такая честь:
ты принят за несущего поесть,
а здесь площадка ихнего питания.

*- площадь в Венеции, знаменитая обилием голубей.

* * *

Солнце жарит, не зная простоев,
все режимы нагрева поправ.
Поле пышет горячим настоем
перегретых полуденных трав.

Зной до звона дошел, до предела.
Дальше – одурь и вечный покой...
Но на редкость живучее тело
шевельнуло бессильной рукой

в направлении чашки с противной,
тоже теплой, но всё же – водой...
Дно морей – не предстанет ли тиной,
в коей трещины вызмеил зной?

Всё ушло. Никаких идеалов,
кроме тени от тучи седой
и больших запотевших бокалов,
полных зуболомющей водой.



О ПЛЮСЕ МИНУСА

Какое чудо! Слабые глаза
преображают ночь в сплошную сказку.
Дома-то как дома. Зато огни...
От их гирлянд никак не оторваться.

И боже упаси надеть очки –
всё станет заурядным и банальным;
а так – пред вами тысяча колец
с дрожащей и блистающей короной.

Корона – из тончайших волосков,
они переливаются и дышат,
а внутренность кольца – она темна,
как диск подсолнуха со сбитой шелухой.
Ведь семечки темны, а лепестки
их тоже, как корона, окружают.

Короче, если грубо обобщить,
огни близки подсолнухам волшебным,
в которых вместо жёлтых лепестков
блистают ослепительные нити –

и все равны! Что ближе, что вдали...
Но как прекрасно их различье в цвете!
Как жаль, что это не увидят дети,
а только двое-трое стариков,
иль только я один – глядишь, они
немедля бы вернулись за очками
и не узрели б эти чудеса...

Стоять бы тут и час, и два часа,
следя колец волшебное мерцанье
(они живут, колеблются, дрожат!).
Вот так же нас порой чарует пламя,
извивы этой плазмы огневой –

но здесь примешан почерк ювелира:
гирлянды бус – одной величины
(одной! – назло законам перспективы);
их видящий становится счастливым,
как будто им они сотворены.

Ночь на 16 июля 2009.

БЕРЕЗКА

Берёзка выросла на крыше;
за что там держится она —
та, что земных подружек выше
и даже более стройна?

Но выше — корнем, а не телом;
порою оторопь берёт,
когда под ветром оголтелым
она худое тельце гнёт.

Под это ветра вероломство
любой взглянувший убеждён,
что ей не суждено потомство
и зрелый возраст не суждён.

И, сострадая этой доле,
кляня судьбы досрочный нож,
вздохнёшь о Дмитриеве Коле,
о Наде Рушевой вздохнёшь.

Коля Дмитриев (1933–1948) и Надя Рушева (1952–1969) — талантливые юные художники.

МОНОЛОГ ПРАВДОЛЮБА

— А не пора ли честно
кончить с химерой этой?
Нынче уже не модно
жидкость сию толочь:
мол, из другого теста
сделаны все поэты
и прозревать способны
то, что другим невмочь.

Этого ж не водилось
во времена камзолов,
мушек на бледных щёчках,
пудренных париков...
Впрочем, и там кормилось
несколько балаболов,
к зелью весьма охочих
делателей стишков.

Были они спесивы
рядом с прислугой прочей,
льстивы перед вельможей,
буйные во хмелю.
Как ведь, подлец, красиво
к небу закатит очи
с важностию на роже —
я, мол, сейчас творю!

Их ведь никто серьёзно
не называл «поэты» —
числили вроде карлов
или же циркачей.

Это теперь так грозно
смотрят со стен портреты,
и знатоков немало,
ведающих, где чей.

Вроде бы, тихой сапой,
втиснулись всем кагалом:
даже Крылов известней,
нежели все вожди.
Памятников и статуй
им по стране навалом;
так что от этих бестий
скромности и не жди.

Я почитал однажды
ихнего Пастернака –
он там пускался плакать,
не отыскав чернил...
Наполеоном каждый
выглядит, а однако
в жизни – труха и слякоть,
но для простушек – мил!

Видно, у женщин что-то
сдвинуто в их сознании:
ежели что-то в рифму –
тают они, как воск...
Столько от них почёта,
столько от них вниманья
тем, кто дурачит ихний
недальновидный мозг!

* * *

Я спокойно таращусь на телек,
на его благодушный экран –
он далёк от вселенских истерик,
от мирских катаклизмов и драм.

Он курлычет, почти не касаясь
ни скорбей, ни печалей, ни слёз;
там волнует игривых красавиц
лишь рассыпчатость пышных волос.

«Только это используйте зелье!
И вы будете так же, как я,
тая в сладостной неге безделья,
демонстрировать сласть бытия

то блеснувшей нечаянно попкой,
то восхолмием нежной груди...».
...А вот к нищенке, тянущей робко
руку-просьбу, поди подойди!

Ну-ка, где твоя смелость-бравата?
Выдай правду в конце-то концов –
расскажи ей, какая помада
лучше манит холеных самцов;

И в салоне какой иномарки,
в аромате таких-то духов
нежно платишь за чудо-подарки
соискателей и женихов...

...Вдруг опомнюсь: к кому я взываю?
Не к актрисе ж, что в роли дурной
(ей самой это не по карману)
источает гламур показной.

2006

СНЕГОПАД

В окошко глянешь: неужель
опять, лаская наши души,
летит пушистая шрапнель
из милосердных божьих пушек?

Опять! И весело глазам,
и рот распялится в улыбке,
внимая этим чудесам,
как дед-рыбак волшебной рыбке.

За что к нам, мелочным и злым,
с небес спускается награда –
волшебных кружев белый дым,
цветы божественного сада?

И не утерпишь, налегке
метнёшься, словно на свиданье –
и легче пуха по щеке
небесных ангелов касанье.



* * *

Есть отличный проверенный способ,
как развеять унынье и гнев:
ворошить шелестящую осыпь
золотых и пунцовых деревьев.

Ворошить и учиться у листьев
отвергать самолюбия власть:
ни один ни к кому не завистлив,
вместе выросли – вместе и пасть.

Как они и сухи, и покорны,
отдаваясь навек, не взаимы,
укрывая родимые корни
от калёных укусов зимы.

Посмотри, как у самого края,
пока вьюга их не замела,
собралась детвора, умирая,
у подножья родного ствола.

И косыми дождями прошита,
и снегами укрыта вослед –
их семья – и тепло, и защита,
и питание будущих лет.

Снег осядет под мартовским солнцем,
прекратится зимы кабала,
и откроется первым оконце –
этот круг у подножья ствола.

И набухнут бессчетные почки
место прежних листов занимать,
павших, вроде бы, поодиночке,
но все вместе – за дерево-мать!

ЛУНА

Закончился обычный день,
в права вступает неизвестность:
всё тише звуки, гуще тень,
всё фантастичнее окрестность.

Когда, откуда, кто придёт,
подвластный древнему напеву?
И, как курортник солнце ждёт,
так жду я ночи королеву.

Не надо мне иных силков;
ликую я, когда высоко
горит над ватой облаков
её недрёманое око.

Сквозь сон я чувствую его;
мне так тепло под этим взглядом —
как будто друга своего
я ощущаю где-то рядом.

И словно чья-то доброта
подсказывает мне на ушко,
что лунным светом залита
моя измятая подушка.

Каких умений дар ей дан!
Сейчас — легко ласкает душу...
А где-то грозный океан
вслепую двинулся на сушу.

И эти миллионы тонн
грозят снести до основания
весь мир... А в небе — чистый тон
и непорочное сиянье.

Она как будто не при чём,
она скромна и не спесива...
Но тронет мир своим лучом —
и только ахнешь: как красиво!..

2017



НОЧЬ

По городским маршрутам тычась
среди толкотни и пестроты,
всё это мельтешенье вычесть
хоть б на день захочешь ты.

И как-то летом наудачу
урвёшь свободных пару дней,
приедешь к дочери на дачу,
где сразу дышится вольней.

Не стены видишь, а раздолье,
едва от дома отойдёшь.
Вокруг деревни – лес и поле:
темнеет лес, желтеет рожь.

Тут бродишь сколь угодно долго –
и всё ж едва насытишь взор...
А под горой царица Волга
во весь раскинулась простор.

Здесь всё иное: день и вечер...
Закат немыслимой красоты
свои удваивает свечи
в зеркале водной полосы.

Кто крепкий летний сон осудит,
когда и двинуться невмочь?
Но некий дух тебя разбудит
и спросит: видел ли ты ночь?

Как уберечь всезнайки имидж?
Что скажешь, если не соврёшь?
Ты выйдешь. Голову поднимешь –
и онемеешь, и замрёшь.

Да, ночь. Так вот она какая,
и ведь давно тебя ждала,
над миром мощно распуская
свои безмерные крыла.

Такую ширь она расторгла
и глуби чёрной синевы,
что дрожь пугливого восторга
окатит с ног до головы.

Вверху – галактик копошенье,
мерцание несчётных звёзд –
и холодок скользнёт по шее,
и приумолкнет гордый мозг.

Ему не осознать размах,
он, как убогая тычинка,
лишь взмолится: так в чьих руках
Земли ничтожная песчинка?

И сколько стоят эти все
межгосударственные споры,
коль Бог вздохнёт – и сдует нас,
как ветерок – грибные споры?



* * *

Декабрь как декабрь, и морозы крепки,
но голуби с мартовским рвением
погоде, рассудку – всему вопреки –
охвачены плотским томленьем.

При этом голубушки в здравом уме –
согреться б, не трогаясь с места;
но тот подлетит, как гусар на коне:
моя ты отныне невеста!

И вот, расфуфырясь, начнёт кренделя
выписывать с нежным урчаньем...
«Таких идиотов не знала Земля», –
голубушка мыслит с отчаяньем.

На шее топырится радужный шёлк,
и прочие жесты-чужачества...
Но вдруг призадумался и... отошёл!
Знать, разум потерян не начисто.

ШУТОЧНОЕ (философское)

Верхолаз, лишённый страха,
мухам враг, а людям друг,
по отвесной стенке шкафа
пробирается паук.

За окном пурги метанье,
снег безжалостно метёт.
Где найдёт он пропитанье?
Где козявку обретёт?

Негде: с осени холодной
все инсекты впали в сон.
Вот такой ему голодный,
бескозявочный сезон.

Но встаёт вопросов тыща
(или около того):
– Что ж, козявка – только пища?
Не живое существо?

По какому, в общем, праву
в человеческом доме
будет он чинить расправу
над подобными ему?

Где правам предел и мера?
И мутнеет, словно дым,
тот вопрос войны и мира,
не решённый и Толстым.



РУКА СУДЬБЫ



ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «МИХАЙЛОВСКОЕ» (1)

– Что, Александр опять в Тригорском?
Уж это, право, чересчур, –
сказал отец, кидая горстку
лежалой ржи десятку кур.

– Того гляди, его оженят;
не знаю, к худу иль к добру, –
добавил он, следя движенье
пятнистой кошки по двору.

(А не она ль цыплят таскает?
Жаль, нету палки под рукой).
– И там, наверно, зубы скалит
над верой, умничек какой...

Ведь ничего ему не свято:
ни Бог, ни храм, ни отчий дом;
а мы – как будто виноваты,
что он почти что под судом.

Надежда Осиповна томно
вздохнула: верно, старший сын
в те дни, когда все вместе дома,
порой совсем невыносим.

– Боюсь, что это лишь цветочки –
к зиме и ягод поедим:
заметь, он к старостиной дочке
поблагодарней, чем к другим.

– Да ну? К Калашниковой Оле?
А впрочем, девка хороша...
И, монами, не в нашей воле
пресечь такие антраша.

Он одичал в своём лице,
потом богемный дым столбом,
и ссылка – вряд ли панацея
для тех, кто тронулся умом...

– Но, Серж, не будь к нему суровым;
он нервен, как любой поэт,
и где, как не под отчим кровом,
искать забвение от бед?

– О, будь покойна – он отыщет
везде, где нету нас с тобой.
Он не духовной ищет пищи,
а плотской: грубой и земной.

Ему отцовские беседы,
как псу дворовому – коты;
и кто ему накликал беды,
о коих так печёшься ты?

.....

... А что в загадочном Тригорском?
О, там кипел клубок страстей,
почти мадридских иль андоррских –
всё из-за парочки гостей.

Моложе – Вульф, постарше – Пушкин;
они, как юные коты
вокруг волнующей кормушки,
бродили, распутив хвосты.

И расцветал такой домашний,
невинный, невесомый флирт;
никоим образом не шашни...
Глоток шампанского – не спирт!

С той – прогуляться по лесочку,
а этой – нежная строка...
Всем понемножку, по кусочку;
пока – без ревности... Пока...



ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «МИХАЙЛОВСКОЕ» (2)

...Проснуться и валяться в неге,
лелея новых строк побеги,
касаясь их и так, и так;
и поэтический верстак –
бумаги лист – ещё не нужен;
лениво думать: что на ужин?

Всё та же каша? Боже мой!
А что бы ты хотел зимой
в глухой деревне? То-то, то-то;
и ведь была тебе охота
дразнить одесского гуся?*

Теперь бесись. Надежда вся
на государя; что его
сумеет улестить Жуковский;
но тёзка**, верно, не таковский,
чтоб дерзким вызовам прощать.
А я не мастер улещать,

Куда ни сунусь – всё испорчу.
И кто навёл такую порчу
на мой характер? С кем я дружен?
Не хочешь ли дуэль на ужин
заместо каши? Лишь представь
тобой заслуженную явь:

Приедет в Псков Американец*** –
ведь ты как на желанный танец
к нему под пулю полетишь!

Уж он, поверь, не промахнётся,
и экзерсисы у колодца****
не пригодятся... Кто придёт
на погребенье? Из Тригорска
рыдалицы, дворовых горстка...

Через неделю Петербург,
зевая, скажет: доигрался...
И уж вовек ни звуков вальса,
ни Баратынского стихов –
ничьих стихов ты не услышишь
и новых тоже не напишешь,
не удивишь крещёный мир...

Не то что Байрон, твой кумир:
тот всё успел, хоть кончил рано
свой путь земной... Какая рана –
его кончина! Даже здесь,
в глухой российской деревушке
оплакан он. И некто Пушкин
по нём молебен заказал.

...Да, всё успел и всё сказал!
Он и талантом, и судьбою
Пронёсся, словно метеор,
Слепя любой сонливый взор...
Но как равнять его с собою?!

...Родись в России он – тотчас
стреножен был бы, и Пегас
подох бы в запертой конюшне,
не повидав иных лугов...
Какая Греция? Во Псков
нельзя попасть без разрешения!
А что мучительней оков,
стесняющих передвижение?

...А за его кровосмешенье,
бесспорно, – верная Сибирь!
Сполна б изведаль хлад и ширь
страны, что Англии крупнее –
во сколько раз? Сказать точнее,
чем «много», право, не могу.
Пред географией в долгу
с лицейских лет – стихи мешали;
А, может, точность вообще
мне отродясь не по душе,
как и цифири... Так едва ли
я мог в науках преуспеть.

А потому судьба мне – петь
(вон как щегол распелся в клетке –
почти, как я, в альбом соседки
вносящий нежный мадригал,
хоть и смешно всё это, право...).

Но ведь никто не отвергал
ещё за нами это право –
сердца девичьи уловлять
посредством сладкозвучной рифмы.
Вот этой сеточкою их мы
и накрываем, как щеглов,
плюсуя каждый свой улов
в самолюбивую таблицу...

О, если бы сейчас в столицу
перенестись... Там, говорят,
я на устах и даже в моде...
А тут, как камень в огороде,
торчу, не нужный никому...
Но не навек же мне тюрьму
судил Всевышний! Право слово:
ведь я давно уже не тот –
крамольных слов беспечный мот;

Сия словесная полова
мне самому теперь смешна,
иное манит и мерцает.
Оставим выкрики. Пора
засесть за взвешенное слово.

Зовёт Истории гора:
от Рюрика и до Петра,
а там, глядишь, до Пугачёва!
Царя Петра могучий нрав,
Ивана Грозного десница,
событий бурных колесница...
Как Николай Михалыч прав,
ушедши в келью летописца!

* граф Воронцов,

** Александр I;

*** «Американец» – Фёдор Толстой.

**** тренировка в стрельбе по игровой карте.

«ГАВРИЛИАДА»

Ужасный гром над головой раздался,
и щепки полетели со стрехи.
Замкнулся круг. Допелся. Доигрался.
Пора платить за старые грехи.

Не спрятаться теперь, не отвертеться:
букашка, а над ней навис щелчок.
А ведь ещё тогда щемило сердце:
не слишком ли заносишься, Сверчок*?

Такое не запишешь, непоседа,
в разряд вполне простительных грешков:
Евангелие – это не «Беседа»**,
да и Создатель – тоже не Шишков***.

Покрасоваться дерзостью хотел?
(Мол, что мне ваши и цари, и боги!).
Не знал, что есть у шуточек предел?
Теперь трясись в нешуточной тревоге.

Осталось только врать. На Горчакова****
валить (прости, покойный Горчаков!).
Но кто поверит в автора такого?
Зато тебя видать и без очков.

Ну надо же! Лишь только всё затихло,
наладилось – и вот она, Судьба!
Теперь закрутит беспощадным вихрем,
привяжет у позорного столба.

И никакого выхода не видно:
Синод плевал на мёд твоих октав.
И оттого особенно обидно,
что знаю, как и глуп был, и неправ.

В густом пуху моё отныне рыльце;
вот-вот, и всё с откоса полетит..
Покаюсь-ка царю – он всё же рыцарь,
он всё ж – Романов: может, и простит...

* Сверчок – шутовское прозвище Пушкина внутри «Арзамаса».

** «Беседа любителей русского слова» (1811–1816) – консервативное литературное общество эллигов классического.

*** А. А. Шишков – литератор, ровесник и знакомец Пушкина.

**** Князь Д. П. Горчаков (1758–1824) – поэт-сатирик.

«МЕДНАЯ БАБУШКА»

Мать Натальи Николаевны в качестве приданого предложила Пушкину статую Екатерины II, отлитую в середине XVIII века в память о посещении императрицей имения Гончаровых

Усмешкой мудрого провидца,
что не уйдёт от кары грех,
глядела медная царица
в сарайном склепе снизу вверх.

В прохладной каменной утробе,
вдали от всяческих тревог
она лежала, как во гробе,
сурово глядя в потолок.

Здесь глохли все мирские звуки
и тишины царила власть,
и очень странны были руки,
не пожелавшие упасть.

Как бы низвергнутая с трона,
она всё продолжала бой
и, как оружие обороны,
держала руки над собой.

Забудут дверь закрыть – так куры
тотчас начнут делёжку мест
и разукрасят всю фигуру,
принявши скипетр за насест.

Откуда здесь, в глухом подвале,
куда не вхож житейский гул,
та, перед коей трепетали
Берлин, и Вена, и Стамбул?

...А было так: царицын поезд
из доброй дюжины карет,
от долгой тряски успокоясь,
остановился на обед.

Царица, с позевотой вместе
перекрестив державный рот,
спросила: «Это чьё поместье?
Не Полотняный ли завод?

Не Афанасий ли Никитич
здесь размахнулся, как король?».
А из ворот уже спешили,
несли с поклоном хлеб да соль.

И чтобы на века восславить
сей исторический момент,
хозяин-льстец решил поставить
на этом месте монумент.

Ваялся он в самом Берлине,
отлит усердно и умно...
Но отчего ж, простите, ныне
он в месте тёмном и срамном?

С чего почтение пропало,
чтобы царицу – в мрак тюрьмы?
Тому виной – правленье Павла,
четыре года кутерьмы.

Оно, конечно, против правил –
сменять забвением почёт...

Но знали все: к мамаше Павел
имеет самый гневный счёт.

Изгой, мамашей не допущен
до трона сорок с лишних лет...
Какие мысли о грядущем
в нём накопили скорбный след?

Не раз, не два он слышал в спину –
как кирпичом из-за угла -
о том, что внуку, а не сыну
она корону стерегла.

Как в ссылку, в Гатчину отправлен,
и даже, вдали дворца –
и там боялся быть отравлен
иль повторить судьбу отца.

.....

И вот он – царь! Уж то-то страху
меж лизоблюдов и льстецов:
а ну как он поставит плаху,
как грозный прадед для стрельцов?

Настало время дней суровых
для преданных царице слуг.
Вот и в семействе Гончаровых
случился крупный перепуг.

Такие начались фортели!
Столь многих гнев его достал!
Как хорошо, что не успели
поставить даже пьедестал!

На дню меняется погода
сто раз... Следи за языком!

Молчок на все четыре года
о тайном кладе под замком.

Курьёзов смачную копилку
могла отныне украшать
царица, сосланная в ссылку,
от сына спрятанная мать.

«Сик тразит gloria», царица.
Едва ль ты думала о том,
что будет образ твой пылиться
в прямом соседстве со скотом.

...В сарай таинственный допущен
в серьёзной роли жениха,
смотрел на это диво Пушкин,
и странных мыслей вороха

его томили... В самом деле:
как на развилке трёх дорог
здесь всё сошлось: нехватка денег,
любовь, история и торг.

– Поклон всем почестям, возданным
Фелице в давние года.
но этот памятник приданым
считать – увольте, господа!

А ведь считает дед Натальи,
идеей этой озарён,
что остаются лишь детали:
обговорить её с царём –

А он иль выкупит (поставить
в достойном месте) иль на медь
позволит статую расплавить...
Но как сказать о том посметь?

Коль монументу места нету,
То медь всегда была в цене.
А вдруг и впрямь удастся мне
перевести её в монету?

Ах, то бы был исход счастливый!
Хотя, меж нами говоря,
вопрос довольно щекотливый:
расплавить бабушку Царя ?!.

Похоже на злоумышление,
на дерзкий вызов: на виду
у всех предать уничтоженью
в горящей топке, как в аду...

Ну что толочь, как воду в ступе?
Пора надежды отложить:
на медь не сдать, а царь не купит.
Сумела тёща удружить!

...Вот так и гениям – чего там! –
своё диктует быта власть.
К его бесчисленным заботам
ещё и эта приплелась.



МЕНЮ ПУШКИНА

*«Встаю в семь, пью кофий...
Обедаю картофелем с гречневой кашей...
Вот тебе мой день, и все на одно лицо»
(из письма Пушкина).*

Когда была бы воля наша,
мы б это самое меню,
что из картофеля и каши,
меняли сорок раз на дню.

Мы няню строго б отчитали
за девок, варящих обед,
Чтоб те тихонько постучали:
«Лександр Сергеевич, омлет!

Рагу из зайца, сливок кружка,
с капустой тёплый пирожок.»
А няня к кофию ватрушку
уже несёт: «Поешь, дружок!»

Потом, глядишь, ко сну потянет;
вздремнёт, а там уже темно...
При взгляде в тёмное окно
наливка в шкафчике поманит...

Читать – темно. Писать – но мысли
куда-то вязнут... Вот беда!
На поэтические выси
не пустит плотная еда.

Заботясь о земной натуре
того, с кем дружен Аполлон,
мы б нанесли литературе
невосполнимейший урон...

Режим поэта грубо скомкав,
Мы встали б Музе поперёк
и заслужили от потомков
жестокий праведный упрёк.



РУКА СУДЬБЫ

Данзас, шагай пошире,
старайся удлинить
поэта в этом мире
цепляющую нить.

Шагов всего-то десять,
за ними – Страшный Суд,
где всё сумеют взвесить...
Одиннадцать – спасут?

Но не спасут и тридцать –
судьбой отмерен срок.
Не выйдет исхитриться –
она взвела курок.

Она взвела их оба,
уже успев решить:
кому – под крышку гроба,
кому – остаться жить.

У ней сомнений нету,
кому куда стезя:
великому поэту
убийцей стать нельзя.

Затем ли с детства муза
жила в его крови,
чтобы убить француза,
виновного в любви?

Ведь это было, было —
и точно, не во сне:
болтал с ним Пушкин мило
за кофе у Дюме.

Конечно, жизнь пустынна,
коль сердце Натали
тоскует беспричинно
в неведомой дали.

С тех пор, как объяснилась
разгадка той тоски,
вся жизнь остановилась,
лишь кровь стучит в виски.

Не на одном французе
сошёлся этот клин:
здесь всё связалось в узел,
конец неотвратим.

На камне можно высечь
пред тем, как закопать:
«Долгов за сотню тысяч,
а жалованье — пять!».

Нет сил носить личину,
что он неуязвим,
и не избыть кручину
печальнейшей из зим.

Не только из-за быта —
открылось жизни дно,
и жить иль быть убитым —
ему уже равно.

Но всё же, всё же, всё же
отбросим политес —

поплатишься ты тоже,
удачливый Дантес.

...Сегодня не игрушки,
не сцена, не балет —
идёт к барьеру Пушкин,
поднявши пистолет.

Ведь не для реверанса
он затевал дуэль:
он не оставит шанса
и вlepит пулю в цель.

Хоть в нетерпенье крайнем
он целит между глаз,
тот будет только ранен —
и даже не сейчас.

Судьба стеною встанет:
Дантес ещё идёт,
а выстрел гулко грянет,
и Пушкин упадёт.

Но, превозмогши муку
и льющуюся кровь,
он, опершись на руку
прилежно целит вновь.

...Погибнуть не хотите ль
в неполных двадцать пять
и своей кровью китель
надёжно запятнать?

Недвижною мишенью
желаете побыть?
надежды на спасенье,
увы, не может быть.

И вновь судьба хлопочет:
она не даст убить
тому, кто жить не хочет,
того, кто хочет жить.

Она отколет штуку;
лишь ей дано суметь:
пробив навывлет руку,
вонзится пуля в медь.

И пуговица эта
с распластанным орлом
спасает честь поэта
в грядущем и в былом.

И сколь ни будет длиться
над нами синий свод,
никто его убийцей
уже не назовёт.



НАТАЛИ

Снова она в мазурке
с баловнем дам Дантесом.
Нету для света слаще
лакомства, чем скандал.
Тут и слепые зорки;
с истовым интересом
только на них таращит
очи столичный зал.

Ах, как она царила!
Вот её раб и пленник.
Вновь из полка отпущен
рыцарь её, герой.
Грустное всё уплыло –
даже нехватка денег
даже угрюмый Пушкин,
даже разлад с сестрой.

Ну и Катрин – влюбилась!
Господи, как трепещет,
видя кавалергардский
белый его колет.
Чья это злая милость,
вечный закон зловещий:
чуть зародилась радость –
тут же свести на нет?

Вот же Коко глупышка:
он же тебя моложе;
ты не боишься в свете
выказаться смешной?

Дать пересудам пищу?
Вслух не скажу, но всё же
этак не так заметно,
как он увлёкся мной.

Будто бы в Петербурге
это давно известно.
От языков проворных,
Господи, огради!
Вяземский как-то буркнул:
«Светишься, как невеста.
Гнев Ганнибалов чёрных
в Пушкине не буди!».

Дамский ответ обычен –
зависть в глазах искрится.
Хоть опускают очи –
жгутся из-под ресниц.
Он ведь небезразличен
даже императрице –
что ж говорить о прочих?
Зависти – нет границ.

Баловнею удачи,
верно, меня считают:
Золушка, мол, явилась –
сразу – и в высший свет.
А посмотреть иначе,
годы назад листая –
сколько мы протомились
юных тюремных лет.

Да, как в тюрьме мы жили,
бедные три сестрицы;
прятались, словно мыши,
чуть зашумит скандал.

Наши светлицы были,
прямо сказать, темницы.
Кто наши вздохи слышал?
Слёзоньки кто считал?

Папенька – сумасшедший –
только и жди сюрпризов;
Как он с ножом погнался –
жуть и сейчас берёт...
Мать по щекам нахлещет,
там уж не до капризов –
день бы скорей кончался;
этак за годом год.

Пушкиным мать страшала:
он, мол, такой крамольник,
пишет про неприличья,
женщин не перечесть...
Так уж и испугала:
клетке своей невольник
волю (в любом обличье!)
сможет не предпочесть?

Да и ему напрасно
столько грехов вменяли.
Пушкин – не злонамерен;
в чём преступленье, где?
В том, что стихи прекрасны?
В том, что в него влюблялись?
В том, что остался верен
тем, кто сейчас в беде?

В свет я вошла несмело –
в это людское море –
где распускают перья,
рядятся в пух и прах...

Пушкин!.. Я так робела,
но прочитала вскоре
искренность и доверье
в ясных его глазах.

Сложен он, нету речи:
может сидеть, набычась,
иль закипеть от пыла –
не отольёшь водой.
Он, как дитя доверчив,
как африканец, вспыльчив,
но как легко с ним было
раннею той порой!

...То золотое лето
больше не повторится.
Спутались дни и ночи,
как понаехал двор.
Были полны привета
очи императрицы
и государя очень
ласковый, тёплый взор.

Был он совсем не страшен,
а симпатичен – очень.
Как говорил он, мило
голову наклоня...
Пушкин сказал: «Наташа,
вспомни царёвы очи –
ты ведь, боюсь, сразила
не одного меня».

Он же потом смеялся:
«Ты мне теперь, как пропуск;
буду с тобой таскаться
в Аничков на балы...».

Так и случилось: вальсы
и комплиментов пропасть;
только не все, признаться,
были ко мне милы.

Ревность его поклонниц
спрятать бывает трудно:
по-за улыбкой милой
острый кинжал притих.
В вежливом их поклоне –
тайных проклятий груды.
Только своей могилой
можно утешить их.

Детство – куда печальней.
Радостный брак? Нимало.
Пушкин, конечно, страстен –
и не ко мне одной...
Но на миру и в спальне
сердце моё дремало.
Я не узнала счастья,
ставши его женой.

Пушкина превозносят,
к небу вздымая очи;
только по нежной лире
судят всегда о нём.
А не меня ль он бросил
после той первой ночи
плакать в чужой квартире
зимним ненастным днём?

Кто ж во мне грех находит?
Мне хорошо – и только.
Нет преступления в вальсе –
разве я не права?

Сам он всегда свободен:
то Хитрово, то полька –
он и сейчас, как раньше,
знает одни права.

Если б ещё не карты –
будто б он много должен...
Ох, эта жажда сходу
сделаться богачом!..
Мне не понять азарта;
в прадедов темнокожих,
в пылкую их породу
кровушкой вовлечён.

Не оттого ль всё чаще
стал он бывать угрюмым
и зазывать в дорогу
сразу же по весне:
скрыться во псковской чаще,
от городского шума...
«Там он напишет много» –
а каково же мне?

Той монастырской скуки
я нахлебалась в детстве.
Заново повторится
доля весь день скучать?
Плетью повиснут руки,
и никуда не деться,
да и царя с царицей
надо ли огорчать?

От городского шума
передохнуть вначале –
можно до урожая
светом и пренебречь...

Больше – нельзя и думать:
дети б не одичали,
с дворней весь день играя,
слыша её же речь...

Дети – моё призванье,
радость моя и мука.
Нет из пяти ни года,
чтоб не рожала я.
Выкидыш – в наказанье,
горестная наука:
беды дарит свобода,
лечит – одна семья.

...Но наплывают снова
лёгкие звуки вальса...
...Смотрит вокруг... Смеётся...
Снова идёт ко мне...
Я и не жду иного;
лишь бы не догадался
Пушкин, как сердце бьётся
и голова в огне...

2017

4 НОЯБРЯ 1836
(первый вызов)

Всё то, что било раньше, било вскользь,
хотя порой бывало очень тошно.
Всё било вскользь, покуда жизни ось –
семья и Натали – была надёжна.

И вот – обрыв. Какой ужасный день!
Её рыдания и мерзейший этот
диплом... Отныне всюду только тень,
и мгла, и ни одной полоски света.

Всё утекло, и вот – пустое дно;
без этой мысли не ступить ни шагу.
Убить иль быть убитым – всё одно,
и вот перо почти что рвёт бумагу.



СЛОВА ПУШКИНА

Если б я о дуэли писал эссе –
там бы было: «Упав на снег,
«Жёкруа кэжэ лякюисс фракассэ»,* –
молвил раненый человек.

А когда бы стрелявший качнул свой торс,
чтоб поднять его и т. д.,
он сказал бы ему: «Жэассэ дэфорс
пуртирэ монкуп. Аттандэ!».**

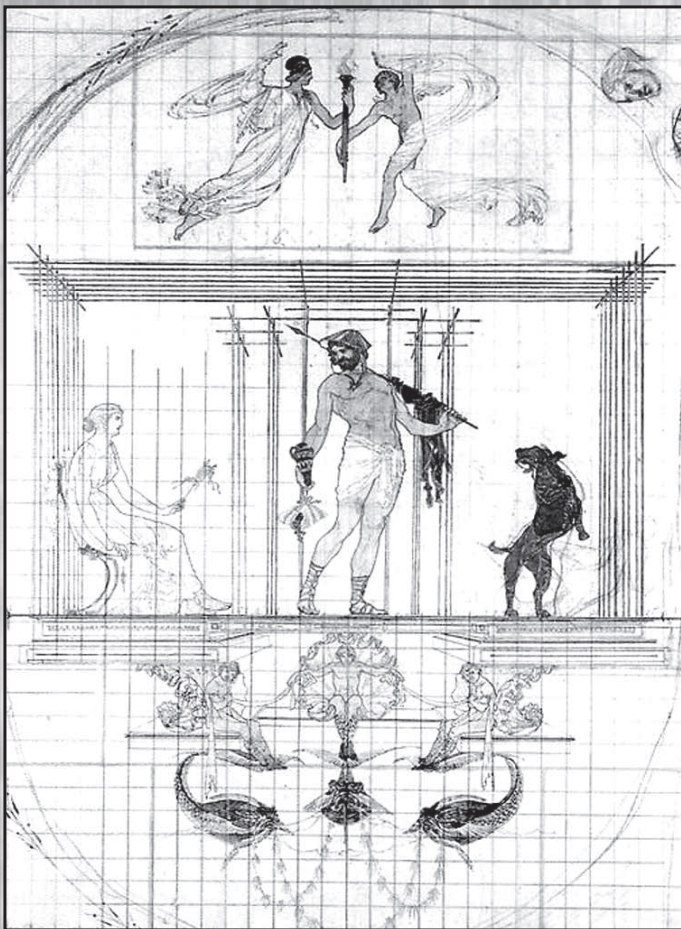
2017

* Je crois que j'ai la cuisse frakassé

(Мне кажется, у меня раздроблено бедро)

** J'ai assez de forces pour tirer mon coup. Attendez!

(У меня достаточно сил, чтобы сделать мой выстрел. Отойдите!).



Эскиз античного панно. М. Врубель

БЕСЕДА С РАФАЭЛЕМ

ВРУБЕЛЬ

Зубною болью был тщедушный Врубель
для наших первоклассных мастеров.
Что рядом с «Демоном» не шло на убыль?
Тускнели даже Репин и Серов.

Не мужички в заплатанных кафтанах,
не светских львиц изящный поворот –
томление божественных титанов
иль роковых страстей водоворот.

Дивили его странные ухватки
и знание иностранных языков;
впивались мэтры в поисках разгадки
в снопы штрихов, в мозаику мазков.

А сфинкс входил, сбивая вовсе с толку:
дешёвый франт в потёртом пиджаке.
К его усам хотя бы эспаньолку,
а так – ни камердинер, ни жокей...

На что живёт? Панно для нуворишей?
Но не известно, кто они и где...
А правда ли, что раньше он, как нищий,
мог жить на чёрном хлебе и воде?

Стороннему был явно непонятен
не объяснимый разумом расклад:
с чего б при виде этих странных пятен
художники подавленно молчат?

Да, видеть это было им не сладко –
тут был совсем неведомый язык,
какая-то томящая загадка,
к которой глаз пока что не привык.

У двух иль трёх был отзыв очень краток:
мол, гений; остальные же – резки,
ярились, как при виде красных тряпок
себя вели б севильские быки.

И лишь когда в приют скорбей попал он,
вздохнули облегчённо – вот оно:
лишь сумасшедший с таким запалом
возьмётся за огромные панно.

Минуя доли, ринется к вершинам
с эскизиком в ладошку – он таков –
и вспыхнут на холсте пятиаршинном
каскады чётких рубленых мазков.

Мозаика как бы случайных пятен –
вблизи ни красоты, ни смысла нет;
а отойди – и, обострённо внятен,
раскроется таинственный сюжет.

И колорит, и линии – иные,
и нет загадки в кованом мазке:
ведь говорит он, как глухонемые –
лишь на своём, особом языке.

Возможно, не на русском – где ж Россия?
Где злоба дня, страдающий народ?
Ведь этот новоявленный мессия,
простите, никуда и не ведёт.

Куда зовут оцепеневший Демон,
Царевна Лебедь, жутковатый Пан?

Каким общественно-полезным делом
они внушают заниматься нам?

...Двадцатый век навис угрюмой тучей.
Вот-вот он так серьёзно громыхнёт,
что из вопросов встанет самый жгучий:
кто этот бурелом переживёт?

...А на осенней выставке, в парижском
Салоне, полыхая из-под век,
по полотну глазами жадно рыскал
нерослый коренастый человек.

С томлением восторга и тоски
он всматривался – аж белели скулы –
в широкие чеканные мазки
горы-панно с Вольгою и Микулой.

По малолюдству торопила касса:
Пора обедать! Экий эгоизм!
Не откликнулся. Это был Пикассо.
В нём пробуждалось новое – кубизм.

.....

...То реализм топили, то спасали,
и Врубель был как будто в стороне;
потом его к модерну приписали –
и стал он нежелателен втройне.

Лишь года через три, как умер Сталин,
среди прочих послабительных звонков
пред изумлённым зрителем предстали
шедевры из глухих запасников.

С той выставки, скорей всего – оттуда,
в числе других волнующих вестей

пришло сознание, что искусство – чудо,
а не повтор газетных новостей.

Ни гром военный, ни житейский хаос
не возвещали странные холсты:
стояли там в себя ушедший Фауст,
Офелия безмерной чистоты.

То было, как озон на смену буре,
людей загнавшей в духоту квартир:
Царевна Лебедь в дымчатой лазури,
морщинистый загадочный сатир...

И это позабытое явление
явило вновь привычный разнбой:
одни оцепенели в изумленье,
другие яро шли в словесный бой.

Но – утряслось. Для переподготовки
хватило дней, теперь и спорить лень.
И в самом крупном зале Третьяковки
царят и «Пан», и «Демон», и «Сирень».



БЕСЕДА С РАФАЭЛЕМ

*Миру остались дивные краски,
причудливые чертежи, похищенные у
вечности.*

А. Блок на могиле Врубеля.

Ослепший Врубель говорил, что прозреет,
и его глаза будут из изумруда.
Еще говорил, что с Рафаэлем расписывал
Станцы Ватикана.

Когда похищаешь у вечности,
вторгаясь в запретный ларец,
не просто к болезни, увечности –
готовься к безумью, творец.

Оно не скупится – сторицею
воздаст за горенье трудов:
придут и виденья столицы,
и музыка райских садов.

Под пение ангелов чудное
так станет светло и легко,
и очи его изумрудные
сквозь время прозрят далеко.

И вот он войдет с итальянцами
в лесами заставленный зал,
и кисти оставивший Санцио
воскликнет: «О, как я вас ждал!».

Свисая волнистыми прядями,
над фреской пройдет рукой:

«Скажите, маэстро, не правда ли –
здесь просится ракурс другой?».

И Врубель, глазами незрячими
окинув поверхность стены,
ответит: «Отлично Вы начали,
но эти сомненья верны.

Здесь ракурс стремительный, редкостный
всю группу сумел бы связать.
Вы помните "Марк" тинтореттовский?
А впрочем откуда вам знать?

Я путаюсь часто со временем,
не самую трудной из мер:
еще его мать не беременна,
а я привожу как пример.

Меж нами четыре столетия,
но кто нам запишет в вину,
коль скоро поставит бессмертие
альбомы на полку одну?

Оно – наша общая станция
в отличие от наших могил...
Еще в Академии, Санцио,
я вас навсегда полюбил.

Нам в вечность дорога отворена –
да Вам ли об этом не знать?
...Ах, доктор, ну как вы не вовремя –
такую беседу прервать!».

2011

«ДЕМОН ПОВЕРЖЕННЫЙ»

Зачем бессонный господинчик
(и неказист, и невелик)
с утра упрямой кистью тычет
в нездешний, непонятный лик?

То этот лик в слезах причастья,
то хмур, то яростен, то тих;
то расправляет крылья счастья,
то камнем рушится на них.

На том холсте пятиаршинном
его страстям наперекор
горят лиловые вершины
к земному равнодушных гор.

Вокруг – картины в пышных рамах.
Милы сюжеты и просты.
А этот Демон будто в ранах
своей зловещей красоты.

Художник суетлив и нервен,
печать безумья на лице:
вокруг – слепцы; он должен первым
сказать всю правду о Творце;

о том, что к гордым и свободным,
презревшим кротости ущерб,
он и издревле, и сегодня
пристрастен и жестокосерд.

И вот – бесстрашный богоборец
с высот небес обрушен в прах...
В изгибе губ – какая горечь
и сколько ярости в очах!

Да, он повержен, но не сломлен,
и вечен будет этот бой
гордыни против Божьей воли –
неравный бой с самой Судьбой!

...И, как от краешка колодца,
как от внезапного огня,
почтенный зритель отшатнётся
и буркнет: «Грубая мазня!».

2016



ПОРТРЕТ БРЮСОВА

*«После маленькой паузы Врубель заговорил опять:
– А мне вот кажутся голоса... я думаю,
что это говорит Робеспьер».*
Из воспоминаний В. Я. Брюсова

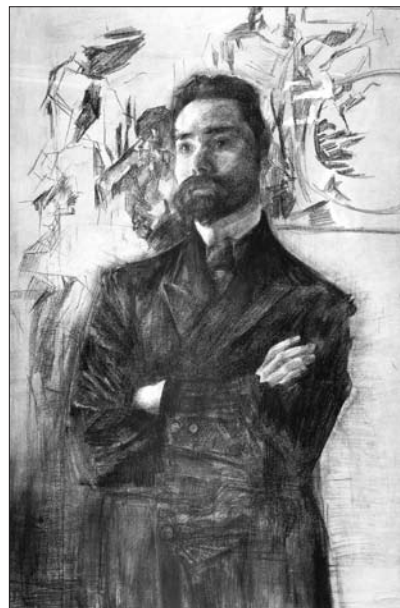
Ещё руке послушен уголь,
штрихи сплетают чудеса;
но резко вздрагивает Врубель,
опять услышав голоса.

...А там, за пыльной портьерой,
который раз с недавних пор
картонный голос Робеспьера
ему читает приговор.

Бубнит, бубнит, как дождь по крыше,
дыханье не переведёт...
А Брюсов, видимо, не слышит:
не шелохнётся, не вздохнёт.

...Поэт стоит, скрестивши руки;
он вне пространств и вне времён.
Ему чужды мирские звуки,
он в Космос Духа устремлён.

Но Врубель, улучив момент,
смущённо спросит у поэта:
галлюцинация ли это,
иль там действительно Конвент?



М.А. Врубель. Портрет В.Я. Брюсова. 1906

Тот передёрнется: однако!
Но вспомнив, где он, не спеша,
припомнит, как лепёшкой с маком
увещевают малыша:

– Ах, дорогой, всё это – нервы...
Я часто, знаете ли, сам
подвержен этим чудесам,
И Вы совсем, совсем не первый...

Всё это отзвуки, как знать,
не мирового ль декаданса?
А сам струхнёт и будет ждать
(скорей, скорей!) конца сеанса.



СТУДЕНТ И ВРУБЕЛЬ

СТУДЕНТ И ВРУБЕЛЬ

Документальная полупоэма

Турбинами сменились Турбины,
дворянское собрание – партсобранием,
и над державной трубкой утром ранним
витали мысли страшной глубины.

Так мы тогда считали. О попойках
ночных на Ближней даче и в Кремле
никто не знал. Вокруг гремело только:
«Он самый яркий светоч на земле».

Его лучи так ярко освещали,
слепили так, что кто бы видеть мог,
кого там налегке или с вещами
запихивали в чёрный «воронок»?

И лагеря плодились, как грибы,
и маршалам выламывали руки –
ведь каждый день, по сталинской науке,
нёс обострение классовой борьбы.

По всей стране намыливались холки,
густели чёрных списков имена...
...А в городе Ульяновске на Волге
стояла тишь, как в оны времена.

Война гудками фабрик раскачала
затишье сонных улиц и дворов,
но, как в деревне, вечером звучало
мычанье возвратившихся коров.

.....

... Войну мы с мамой провели у наших
родных в деревне, среди кур, овец,
пока, с трудом демобилизовавшись,
нас вновь в Ульяновск не привёз отец.

Хоть на войне убавилось народу,
в тылу не рассосался, а возрос,
лишь становясь острее год от году,
квартирный незадачливый вопрос.

Домашний скарб сложили у знакомых
и ночевали тайно, как жульё,
пока отец в райкомах и горкомах
пытался нам отвоевать жильё.

Он уходил почти что на заре
и пропадал. Однажды очень гордым
вернулся – и в руке его был ордер
на комнату в знакомом уж дворе.

Пожалуй, я метражик назову:
двенадцать метров! В них мы проживали
втроём, а часто и с кузиной Валею,
которая училась в ФЗУ.

Двенадцать метров – это шесть на два –
такой пенал. Подобие вагона.
В торец кровать задвинули едва –
зато стена была многооконна!

На юг смотрели целых три окна –
нормальных, не какие-то оконца;
и как бы жизнь была озарена,
когда б соседний дом не застил солнца!

Высокий, двухэтажный нависал
над нашим (метров восемь между ними),

и наш уклад смиренный наблюдал
кто хочешь сверху – тот же Герка Зимин.

Гостей приезды душу веселили;
укладка ж на ночь с юмором была:
тогда нам, детям, на полу стелили,
под «потолком» пристенного стола.
Не возражали мы – какой ребёнок
захочет быть раздавленным спросонок?

Хоть я читал уже давно и бегло,
но не избежать школьных долгих вех.
Я семилетку помню как-то блекло
и даже одноклассников – не всех.
.....

– Эй, автор, не довольно ли «за здравье»?..
Когда же предисловию конец
и в стены вуза вступит ваш юнец,
чтоб оправдать весомое название?

Да и причём тут гениальный Врубель,
о коем Брежнев в оны времена,
недорасслышав, заявил, что в рубль –
несоразмерно скромная цена?

Тут автор поднимает обе лапы
(хоть он и Лев, но лапы только две),
сворачивает детские этапы,
переходя, не мешкая, к Москве.

* * *

Конец пятидесятих. Град Москва,
как ты была к юнцам великодушна!
И мы их забирали простодушно –
на радость жизни полные права.

Уже надёжно был народ оставлен
усатым богом (говорят, insult),
хотя ещё с опаской к слову «Сталин»
мы присоединяли слово «культ».

Ещё международный фестиваль
не стал воспоминаньем старожилы,
когда Москва не хуже, чем Версаль,
забыв о буднях, пела и кружила.

Вчерашний школьник, ставший москвичом
на шесть учебных лет в архитектурном,
конечно, оказался новичком
в её кипеньи, деловом и бурном.

Но быстро свыкся. Юные мечты
в своём запале прободали небо.
Он был со всей Вселенною на «ты»,
хоть ужином была краюха хлеба

да кружка кипятку. Заварка – та
всегда перед стипендией кончалась,
а сахар был – он с дрожью иногда
припомнит пресно-приторную сладость.

Зато он чуть не каждый день бежал
в «Демкнигу», невзирая на морозы
(коли зима), или в читальный зал –
неспешно смаковать трактат Спинозы.

А Врубель! Эта мука и любовь...
Он рисковал музейных жриц прогневить,
впиваясь в Третьяковке вновь и вновь
в печальные глаза Царевны-Лебедь.

Она плыла в неласковую тьму,
загадочна, бледна, туманнокрыла...
Он знал: она лишь одному ему
свою тоску извечную открыла.

...По выходным, нацеленно неистов,
наверно, сотни верст оттопал он,
чтобы порой найти у букинистов
какой-нибудь истёртый «Аполлон»,

в котором божество его таилось...
О, шелест неизведанных страниц!
А вот и вкладка... Боги, вашу милость
явите! Сердце обрывалось ниц,

когда глаза, как молния, слепило
сокровище, открытое впервой:
густых мазков томительная сила
иль трепетный рисунок перовой....

Змеилась обнажённая наядя,
прекрасный Демон изнывал в тоске;
сквозило сладким ароматом яда
в тягучих позах, в рубленом мазке.

Да, в рубленом! Недаром был он – Врубель,
и вроде, звука не было милей,
и, вытянув на свет последний рубль,
студент был всех счастливей на земле...

Кому-то легче в преферанс продуться,
но, к счастью, он не знал таких невзгод,

и стопка уникальных репродукций
заметно припухла каждый год...
Что – репродукций! То была пора,
когда, среди пышной рухляди небросок,
в комиссионном среди ампирных бра
висел спокойно репинский набросок...

Иль шишкинский... Всего за двести рэ!
(Реформа их в двадцатку превратила).
Вполне их мог купить по той поре
любой учитель, а уж воротила!..

Но воротили были не в чести;
закон был строг, давал от десяти
и выше за торговые замашки;
рубль не спускался к уровню бумажки
и мог себя заносчиво вести
внутри страны (о прелестях Италій,
понятно, мы тогда и не мечтали).

.....

Но я отвлёкся. Как-то, прикипев
к витрине в старом книжном магазине,
студент услышал: кто-то нараспев
произносил магическое имя.

Чернявый тип, носатый и худющий,
медлительный в движениях, как король,
спросил: «Что есть из Врубеля?» – и тут же
их подружил магический пароль.

– Яремич есть? С цветными? Вот везучий!
А я с цветными отыскать не смог...
Увидишь у меня. Скажи-ка лучше:
купил ли ты последний каталог?

– Где «Демон» на сиреновой обложке?
Конечно! Пару! Еле упросил...
А выставку саму совсем немножко
я не застал... Обидно – нету сил.

– Да как же так? – У нас о ней на Волге
я не слыхал, а как приехал – шиш!
Уже закрылась... Той беседы долгой
теперь не вспомнишь и не повторишь.

Порой судьба дурит – хоть лезь на стенку,
порой – в пустыне поднесёт испить.
То был художник Миша Тарасенков.
Он шёл... рисунок Врубеля купить!

Доподлинный! Студент едва не спятил
(так сладко оборвалось всё внутри),
когда, как верующий на распяты,
смотрел на стену, где висели три

рисунка, обморока, наважденья:
«Стоящий Демон», «Койка у окна»,
А третий?... (Сорок новых дней рожденья –
и стёрлась память, выцвела она).

Обычная квартирная утроба,
бесспорно, населялась знатоком
(трёх Врубелей собрать – поди попробуй),
и Миша был, по счастью, с ним знаком.

Наверно, дело было решено
заранее, и Миша Тарасенков,
отдав три сотни, бережно со стенки
снял рисунок (койка и окно).

Потом мы шли к Тверской-Ямской, где Миша
жил с бабушкой и Надею (женой?)

Сомнению потом явилась пища,
но это мы оставим стороной).

Достав покупку, как Кощей на злато,
он вперился, забыв про всё вокруг.
Надюша только охнула: «Зарплата?» –
безмолвно улыбался новый друг.

И вдруг сказал: «Взгляни на "Ассирийца" –
там, сзади, на комод. Ничего?». О,
Боже, неужели мне не снится,
и это он так радужно искрится,
и вот уже в руках держу его?

...Как нынче бы сказали, трудоголик
был наш кумир, и всё-то он успел.
Пленённый нежной радугой майолик,
в Абрамцеве над смесями корпел.

Так вот откуда воин сей кудлатый,
глядающий с вековой тоской!
Где жил ты раньше? Ставился куда ты,
пока не замер на Тверской-Ямской?

Ты помнишь трости, кринолины, шляпы,
к тебе склонялись лики мудрецов.
Бесспорно, Савва.* А Серов? Шаляпин?
Коровин? Репин? Виктор Васнецов?

Абрамцево... Обычное поместье,
в которое велением судеб
стеклись в радушный дом все те, кто вместе
растили окормлявший души хлеб.

Здесь русское искусство год за годом
взрастало самобытней и мудрей.

* Савва Мамонтов

Здесь Репин хлопотал над «Крестным ходом»,
и Васнецов писал «Богатырей».

Но Миша добивал: «Послушай, Лёва,
признайся сразу честно, не хитри:
читал ли ты, к примеру, Гумилёва?
И если нет – на полку посмотри».

...В глухие дни Ежова и Лысенко
собрал крамольных редкостей букет
известный Мишин дядя – Тарасенков,
писатель и литературовед.

Стояли чинно в ряд: «Чужое небо»,
«Шатёр», «Костёр», «Колчан» и «Жемчуга».
Знаток, и тот сказал бы: «Это небыль!
Не может быть! Весь Гумилёв?!» – «Ага!».

Запретные стихи на грани штрафа
или похуже – от гэбэшных кобр...
Я вскоре наизусть читал «Жирафа»,
«Помпея у пиратов», «Консул добр...».

.....

– Ну, хорошо – а где учёба,
где ваш прославленный МАРХИ?
Ты ж не затем приехал, чтобы
читать запретные стихи?
– Да, виноват – болтлива старость,
а ведь маршрут предельно прост.
...И вот Рождественка. Осталось
лишь пересечь Кузнецкий Мост.

И сразу же за «Книжной лавкой»,
налево, вход в заветный двор,
где с той поры магнитит лаской
фасада памятный узор.

О времена крутого галса
двадцатых! Занесло же нас
как раз туда, где размещался
в те годы буйный ВХУТЕМАС!..

...Один старик у нас при входе
вахтёром был. Болтлив и сед,
он Маяковского Володю
запомнил с тех далёких лет.

Здесь нам мечталось и горелось,
и как по воздуху несло;
здесь шли экзамены на зрелость,
здесь постигалось Ремесло.
...Мы добросовестно потели,
склоняясь тонкою лозой,
и «отмывали» капители
почти что собственной слезой.

В учёбе нашей кнут и пряник
чередовались так пестро,
но каждый гордо нёс подрамник
по Жданова и до метро.
Нам эта кладь была желанна
и в лютый холод, и в жару –
она была приметой клана,
как кардиналов Ватикана,
нас выделявшая в миру.

Мы гордо шли – как Че Гевара,
как победители с войны,
и лишь свернувши с тротуара
в свой дворик, делались равны.

Да где «равны»? Склоняясь лбами
над порученьем «стариков»,
мы были скромными «рабами»,

блюли традицию веков.
О, «старики», ловцы удачи,
сухими выйдут из воды!
осталась пара дней до сдачи –
на дверь листок: «НУЖНЫ РАБЫ».

И мы идём благоговейно.
Обводим. Красим. Подаём.
Мы учимся и познаём.
Нам их доверие бесценно.
В награду нам – глоток портвейна,
и даже чем-то зажуём.

Нам это слово придавало
особый статус на земле:
«Вчера я рабствовал» звучало
почти как «был вчера в Кремле».

Сначала были мы инертны,
равны, как в банке монпансье.
Потом открылись Райт и Нейтра,
Нимейер, Танге, Корбюзье.

И с доброй грубоватой лаской
потуги наши созерцал
профессор Михаил Синявский,
архитектурный аксакал.



М.И. Синявский (автор Московского планетария, 1931)
и одноклассник Леша Козлов, «эрзацвнук» (как она его называла)
Фаины Раневской, ученицы его бабушки.

...Однажды, в Третьяковке засидевшись
пред «Демоном поверженным», я вдруг
услышал за спиной такие вещи
в негромком разговоре двух подруг,

о коих я (!), знаток (!) ещё не ведал
(они касались Врубеля жены).
В тот день друзей мне подарило небо,
три свечки дружбы были зажжены.

... Наведывайтесь, граждане, в музей!
Советую серьёзно и сердечно:
я там обрёл практически навечно –
от юности до старости – друзей.

Осмелившись, я подошёл с расспросом.
Они смотрели явно свысока
на школьника почти, молокососа,
что словно бы свалился с потолка.

Подружек звали Галя и Ромена;
они постарше были и уже
наверняка романы и измены
роились в каждой девичьей душе.

Конечно, то, что свёл нас только Врубель,
внушило им известный холодок,
но всё же девы не сочли за убыль
прийти с визитом в наш студгородок –

с восточной стороны проспекта Мира,
как раз насупротив ВДНХ.
Воспой же, ностальгическая лира,
юнцов, ещё не знающих греха!

«В Москву, в Москву!». Студенчества поток
к тридцатым так возрос, что спаса нету –
тогда и был построен городок –
добротное студенческое гетто.

За тридцать лет истекших каждый дом
обшарпался – их жизнь была несладкой;
и в гуще новостроек тот район
уже казался старою заплаткой.

Не только молодёжью он гудел,
но и жильцов семейных было много.
Сосед-татарин уж с утра сидел
на корточках у своего порога.

Внутри он только ел и ночевал,
а здесь весь день был пост его и выпас;
и тут же мне он как-то сторговал
часы «Победа» – самый первый выпуск!

Их высоко ценили знатоки –
и справедливо: лет ещё пятнадцать
они служили мне, и я, признаться,
их даже ночью не снимал с руки.

... Вернёмся к теме новости моей.
Мы с другом Димой (он из Оренбурга)
продумали не хуже драматурга,
чем развлекать ответственных гостей.

Блеснули мы уменьями своими:
и каждый, как заправский чародей,
преображал начертанные ими
каракули в зверушек и людей.

Сейчас не помню, было ли винцо.
Едва ли. Вовсе не бойцы за трезвость,



МАРХИ. Перерыв лекции. Слева Дима, справа – я. 1959

боялись мы, что этот жест юнцов
они вполне могли принять за дерзость.

Потом примкнули Гарик, Лев Козлов –
соседи и пожизненные друзья –
и завязалась дружба в шесть узлов
до сей поры; и никакие вьюги,

что накрывали изредка страну,
не помешали нам переключаться,
хоть вместе всем не довелось собраться,
повспоминать далёкую весну.



2009. Москва. С Гариком Берковичем (в центре)
и Димой Радыгиным (справа)

Закончен вуз. Колёса – ту-ту-ту...
 нас развезли. Козлов – в Алма-Ату,
 в Сибирь – Беркович, я – в родной Ульяновск,
 а Дима – в Казахстан, преподавать
 архитектуру в Усть-Каменогорске.
 Вот так нас всех, как семена из горстки,
 рассеяло... Попробуй-ка собрать!

Подруги были тож разлучены:
 ждал Галю Минск, в Москве одна Ромена
 держала оборону (без войны,
 но всё ж вела бои попеременно:
 любитель справедливости у нас
 не может быть спокоен ни на час).

...Женившись и детишек заведя,
 я стал скликать друзей попеременно,
 но где там! Только Галя и Ромена
 порадовали родину вождя;

и я в ту пору был безумно счастлив,
 проснувшись и услышав наяву
 их голоса – как будто бы в Москву
 и в юность я попал хотя б отчасти.

Они с моей возились детворой,
 и те, не избалованные этим,
 лепились к ним. Как льнёт пчелиный рой
 к мамаше рода – свойственно и детям.

...Я на архитектурном семинаре
 был в Киеве, и в те же времена
 там получилось очутиться паре –
 Ромене с Галей; жизнь – она умна.



Света (на руках Дианы) и Дима (на руках Ромены)
 демонстративно шурятся. Серьёзные Олюня и моя мама

Их привели какие-то пути
 свои... Бродя по улицам, глаза,
 подумали: а как бы Льва найти?
 «Наверняка у Врубеля в музее
 торчит...» – сказала Галя. Там они
 меня и обрели под общий хохот.

...С тех пор промчались годы, словно дни,
 и этих лет сумятица и грохот
 задвинули куда-то в глубину,
 размыли чёткость контуров и красок
 тех дней, когда из всевозможных масок
 мы выбирали разве что одну –

онегинскую – мнимая усталость
 от бурной жизни... Маска детворы.
 Ещё ни грозы жизни, ни пиры
 нас не коснулись – или так казалось?

...Однажды летом с парой друзей
 (Ильдус и Гена), я с семьёй, Ромена

с сестрой Дианой – все мы непременно
возжаждали хоть парочку язей

поймать и тут же на костре изжарить.
Прекрасный план! Итак, скорее в путь
до Ундор! Там сумеем отдохнуть:
и рыбу половить, и покемарить.

На «омике» туда дотелепались;
становище разбив на берегу,
зажгли костёр, рыбачили, купались,
а ночь пришла – не пожелай врагу...

Дождь зашумел, но мы уснули сладким,
глубоким сном в палаточном мирке,
забыв о том, что ставили палатки
в низине и поблизости к реке.

Как вдруг – тревога! Волга к нам сама
в палатки крыс подмокших подослала –
конечно, визг! Вокруг – ночная тьма,
а надо и детей, и одеяла,

да и палатки – всё тащить наверх
(а дождь идёт, а склон и крут, и глинист...) –
как это каждый доволоку и вынес –
сейчас и не представишь; это сверх
любых попыток логики житейской:

как ставились палатки на бугре,
как вымокшие дети засыпали –
иль не смогли? Исчезли все детали,
лишь помню, как на утренней поро,

стуча зубами, ждали парохода
иль «омика» – ведь что-то же придёт?

Но, как назло, ненастная погода
не обещала радостный исход.

Но рано ль, поздно ль, «омик» тот вдали
явился. Подошёл. А от причала,
который ночью буря раскачала,
одна доска наклонная торчала –
и мы по ней (с детишками!)... прошли!.

Бывает то, что трудно осознать.
Ту одиссею в здравом рассуждении
считали мы почти за сновиденье –
тем паче сладко было вспоминать!

.....

С годами наши встречи стали редки
и заменились письмами. Они
анахронизмом стали в наши дни,
как, скажем, рядовые табуретки –

но мы их пишем. Я бы отстучал
по электронке быстро, но Роменой
(и Галей тоже) этот акт – изменой
мог быть сочтён. Тут важен ритуал

Писания по Белому Листу;
и если говорить начистоту,
мне этот предрассудок симпатичен.
Когда в пластмассу пальцами мы тычем,

представить страшно, чтобы так стучал,
к примеру, Пушкин или Лев Толстой...
Итак, сдаёмся перед красотой
процесса как начала всех начал –
хотя, конечно, не в процессе суть...

А как же Врубель? Позабыт? Ничуть.
И сборник мой «"Малоизвестный" Врубель»
уж дважды уходил в свой крестный путь.
А под конец решился я на удаль:

издать его полнейший каталог –
(представьте – тыща наименований!).
Там будет всё, что отыскать я смог...
издать его – сильнее нет желаний!

Август 2017



АЛЛЕ БАБИЧЕВОЙ

Имён прекрасных есть немало
(и посвящённых им стихов);
Но согласитесь: имя «Алла» —
как роза меж других цветов.

Ах, что за краски в слове «Алла»!..
Наверно, это цвет коралла
и зорьки той, что догорала,
чтоб утром снова засиять.
И имя то не всем даётся,
а коль дано — терпи: придётся
певицей иль актрисой стать.

(от Аллы Тарасовой до Аллы Пугачёвой)

Когда Тарасова блистала
в волнах любви народных масс,
Иосиф Грозный как-то раз
сказал, прищулив карий глаз:
«Что Сталин? Ты известней, Алла!
А наше знамя тоже *ало*,
и непонятно, кто из нас
ведёт вперёд рабочий класс...
Какую премию б желала?
А Шверник сочинит указ».

А наш указ такой: чтоб Алла,
что ни случись — не унывала,
чтоб наше чувство омывало
её волной и помогало
любить, надеяться, творить

на радость нам как можно дольше,
славнее, чем Коперник в Польше...
Аллах (!) одной лишь буквой больше —
чего ж про смертных говорить?..

20.10.06

Алла Бабичева (1951- 2008) – актриса Ульяновского драмтеатра, Заслуженная артистка России



Г. ДЁМИНУ

О, Гена, как не окунуться
в тут даль, где нам за двадцать лет,
где наши души просто рвутся
поднять, создать, оставить след...

И я, с рисунками подмышкой,
лечу по лестнице туда,
где каждый день без передышки
кипит газетная страда;

Где, коренастый и неброский,
над размечаемым листом
свой чуб склоняет Романовский,
как огородник над кустом.

Он не один; с ним рядом — трое:
Антипов, Дёмин и Пырков;
и их газета — словно Троя
в кольце идейных «бугорков».

В их «Комсомольце» сквозь запреты,
бюрократические рвы
звучал призыв к добру и свету
незамутнённой головы.

И средь газетной круговерти
они (и было ведь не лень!)
писали — верьте иль не верьте —
свой рукописный орган «Линь»*

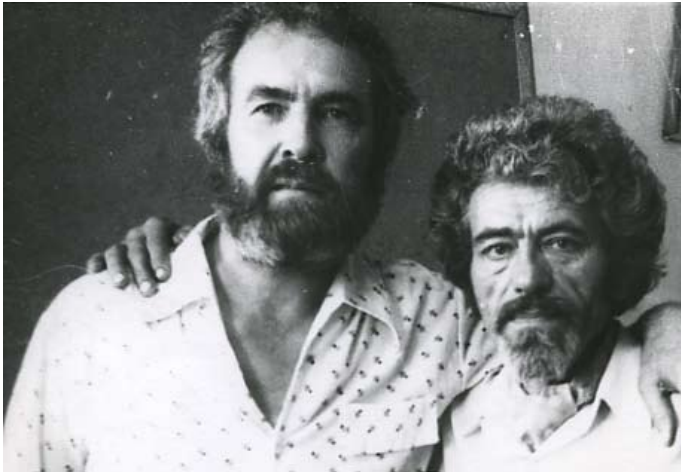
И часто я под общий хохот
чертил туда, увлекшись сам,
то шарж на их рыбацкий опыт,
то иллюстрацию к стихам...

...С тех пор (призывов, строек, домен),
где мы оставили свой след,
мне очень дорог Гена Дёмин...
Удач! Здоровья! Долгих лет!

Его не спутаешь с прохожим
(таких, как он — один из ста...).
Как на Твардовского похож он!
Наверно, это неспроста...

Геннадий Иванович Дёмин – писатель и журналист, прозаик, член Союза писателей России (1939–2010).

* Девизом газеты «Линь» было изречение: «Боги не засчитывают в срок жизни время, проведённое на рыбалке». А все «издатели» были заядлыми рыбаками.



А. ДЯГИЛЕВУ

Ну что сказать, приятель дорогой,
в твой день рождения под припев бокала?
Немало соли съели мы с тобой
и чарок опрокинули немало.

Бывает: в чарку нечего налить,
когда тоска и прочее нахлынут;
а с солью проще: раны присолить
соперники-коллеги не преминут.

Вот им бы дар твой — о, они б его
пустили в оборот на все катушки:
заслуженный, народный и всего
полно в дому, и дача на опушке.

Кирпичные заборы б — не плетень
воздвигли для охраны тучным грядкам,
и дружно б щекотали каждый день
свои холсты конвейерным порядком.

Но нё дал бог — и как ни щекочи,
выходит то, что тьма других щекочет...
И среди них попробуй отличи...
А этот гад — он может, но не хочет!

Сальери прав: нет правды на земле!
Сальери прав: но правды нет и выше!
Но если пошустрить — глядишь, в Кремле
чего-нибудь приятное подпишут.

Тогда — утрись, постылый Дон Кихот
и утешайся гонором и пьянством.
Талант, не обращаемый в доход, —
ничто пред бесталанным постоянством!

Анатолий Иванович Дягилев (1935 - 2001) – художник-живописец, сосед по мастерской и друг автора



Ю.И. КУЛИКОВУ

Когда обычный суетливый гон
меня влечёт (судьба такая, видно)
«Куда всегда спешишь?» — окликнет он
с насмешкою, ни капли не обидной.

Вовек не обижается трава
на ели поднебесное господство;
и у него особые права
глядеть на нас с усмешкой превосходства.

Нам далеко до ихней прямоты,
до слов, из пепла горького проросших,
и всё же мне так хочется «на ты»
сказать ему десяток слов хороших,

О той страде, о ранах и боях
сожженной кожей знаешь — не по слухам.
Уже сама фамилия твоя
осенена высоким ратным духом.

В волненьи моря чёлн не виноват,
и хоть война ту юность обокрала,
блажен на кисть сменивший автомат
и меч перековавший на орала.

Ты с удочкой присядешь у реки
или для этюда выставишь треножник,
и свистнут столь родные кулики:
Салют, салют! Привет тебе, художник!

В твоих этюдах мир и тишина.
Заря спокойно рдеет из-за леса,
а в строки всё врывается война
и всё грохочет смертное железо.

Ну что же нам ещё тебе сказать,
товарищ наш, поэт, художник, воин?
Наверное, одно лишь: так держать!
а долгих лет и здоровья — достоин!

15.09.94

Ю.И.Куликов (1924- 2000)– художник-график, живописец



И.В. ЛЕЖНИНУ

Воспеть бы Вас чеканной бронзой,
поэт, художник, гражданин —
Иван Васильевич не Грозный,
а даже несколько Лежнин.

В квартирах, клубах, галереях
картоны Ваши и холсты
глядят со стен и душу греют
талантом Вашей доброты.

Бывает так: рисунок точен
и верен тон, а сердца нет.
У Вас же — сердцем смотрят очи,
любой этюд — душой согрет.

Вы влюблены в людей и в небо,
в собак, детишек, стариков,
в стихи, в ломоть ржаного хлеба,
в нахлёсты волжских беляков.

Вам говорить про возраст рано,
коль сердце юное в груди.
Пример берите с Тициана —
и четверть века впереди!

IV-94

И.В. Лежнин (1924 - 2002) – Заслуженный художник России

Н. А. МАЛИНИНУ

Николай Афанасьич Малинин,
драгоценной души человек!
Хорошо, что заслуженно длинен
Ваш нелёгкий и праведный век.

Хорошо, что есть правда на свете -
и шагнули размашисто Вы
от заметок в районной газете
до признания мэтров Москвы.

Волга с Вологдой схожа корнями,
не оттуда ль она и течёт?
Там с отцом моим были парнями,
здесь снискали покой и почёт.

Только нету покоя в газете.
Краем были задеты и мной
«беспокойные хлопоты эти»,
как говорено в песне одной.

Но снимает любые болячки,
(как парная: то в холод, то в жар)
суматоха газетной горячки,
ежедневный привычный пожар.

Может, я и свернул бы, кто знает,
И шагал бы дорогой другой,
если б свет-Николай Афанасьич
не толкнул своей мудрой рукой.

Он давал мне сюжеты с азартом,
зажигался и сам зажигал,
он не прятал козырные карты,
А, напротив, всегда помогал.

И любому скажу без ошибки:
свет на сердце надолго вселят
и застенчивость Вашей улыбки,
и стремительно-бережный взгляд.

Вечно будет в архивах храниться
урожай золотого пера,
честный пахарь газетной страницы,
бескорыстный защитник добра.

И Россия навеки пребудет,
коль мерцают такие, как он,
незаметно великие люди.
Честь им, слава и низкий поклон!



А.И. МАРКЕЛЫЧЕВУ

Фантазёр, бессребренник, мечтатель,
вычеркнувший скуку навсегда,
моему отцу он был приятель
в осовиахимские года.

Кто-то брёл по северным этапам,
и в застенках лютовало зло,
а вот этим молодым ребятам,
откровенно скажем, повезло.

С парашютом прыгали - не бились,
у друзей - улыбка и почёт,
и с войны кровавой возвратились
живы, а ранения - не в счёт.

С полным сердцем и пустым карманом,
с давней сединою у виска,
никогда ни лестью, ни обманом
не урвали лишнего куска.

Жили и доверчиво, и просто,
не жалели пыла и огня,
и уже шагнув за девяносто,
стариками не были ни дня.

Александр Иваныч без отсрочки
стал художник, да ещё какой!
А отец рифмованные строчки
выводил дрожащею рукой.

Творчество души - не для продажи,
и, будь жив, сказал бы мой отец
вот на этом самом вернисаже:
- «До чего ж ты, Сашка, молодец!».

Я ж, знакомый Вам ещё с пелёнок,
а теперь и сам уже седой,
среди этих красочных картонок
рад, что Вы такой же молодой,

как в года совместной нашей службы
во Дворце*, а после - в УГП**...
Рад, что удостоен Вашей дружбы,
Вашего вниманья и т.п....

Снег волшебный поднавалит за ночь -
руки просят красок и холста...
Дорогой наш Александр Иваныч,
будьтездравы ну хотя б до ста!..

06. 12. 2002

*- Областной Дворец пионеров с 1967 г.

** - Ульяновскгражданпроект в 1970-е.

А.И. Маркелычев (1908 - 2009) - старейший фотограф-журналист

(PS. Моё пожелание сбылось: А.И. Маркелычев прожил сто лет и ещё полмесяца)



ГРИГОРИЮ МЕДВЕДОВСКОМУ

(в связи с выходом книги
«Пришла пора поворотить архивы»)

По небу туч взлохмаченные гривы
Ползли напominаньем о судьбе.
«Пришла пора поворотить архивы», —
Сказал Григорий самому себе.

А коль решил — сполна поворотил он;
Поворотил — сомнений в этом нет —
Покрепче, чем когда-то Ворошилов
Поворотил наш генералитет.

А результат сказаться не замедлил:
Смирняя пыл возможного врага,
Рокочут гулкой колокольной медью
Слова поэмы «Курская дуга».

Но не был бы Григорием Григорий,
Когда б свой юмор запер на замок.
Быть может (уж скажу без аллегорий),
Он и хотел бы, но уже не смог.

Не смог — и слава Богу! В жизни нашей
Шутейное и грустное — сплелись.
Виват, поэт! Под звон заздравной чаши
Гуляй, приятель, пой и веселись!

18.04.08.



Н. МЕРЗЛИКИНУ

Твоих творений блики
Цветут везде окрест,
О, Николай Мерзликин,
Ульяновский Гефест!

Ведут в подвал ступени,
Где на своём посту
Без лишних словопрений
Формуешь красоту.

Из огненного ада
Не выплaviшь монет —
Ведь лишнего не надо,
Да лишнего и нет.

А есть талант и руки,
Калёные огнём...
Наполни эти штуки,
А мы уж подмогнём.

* * *

Вишнёвый сад не вымерз Ликин**
И с неба нынче брызнул душ.
Ульяновск чист — и Вы, Мерзликин,
Сегодня в центре наших душ!

* Очевидно, Лика Мизинова.

Н.А. Мерзликин - художник-керамист



Ю.В. ПАВЛОВУ

Ну что тут скажешь, что тут скажешь,
учитель мой и старший друг?
Ведь не для купли и продажи
мы эти строки пишем вдруг.

Ведь не для выгоды-корысти
порой толкуем дотемна
и ищем свет далёких истин
за рюмкой крепкого вина.

Одна и та ж у нас основа —
палитру чистить, перья грызть,
и кисть нам дорога, как слова,
а слово дорого, как кисть.

«Дюбите живопись, поэты!»
А что же нам — делиться вдоль?
Равно́ мы любим то и это,
и то, и это — наша боль.

И как бы нас не заносило
на перекрёстках бытия,
и то, и это — наша сила,
и мы счастливы — Вы и я.

XI-78

СОДЕРЖАНИЕ

Ю.В. Павлов - создатель и директор Детской художественной школы

СТЕЛА	5
Утренний автобус 1990-х	7
«...О, как мы в молодости падки...»	8
«...Не плачут дети на похоронах...»	9
В брошенном доме	10
«...В эфире зудящий азарт барыша...»	11
Полушуточное (глобальное)	12
Шуточное (житейское)	15
Метеорит	16
Книга жизни	19
«...Средь красочного импортного хлама...»	20
«...Давным-давно, во время оно...»	21
«...Бытие ненадёжно людское...»	22
Стихи Благова	23
«...Прonoшу сквозь толпу молодых...»	24
«...Восьмой десяток? Мне? Вот это да!...»	25
«...Мы – снежинки житейской метели...»	26
«...Мы стремились к вольной воле...»	27
Из поэмы «Не хорошо»	29
Музей на Венце	31
«...Как ни пыжься – уходят силы...»	33
«...Ветрено. Приплясывают листья...»	35
«...Ударом ли мгновенным (дай-то Бог!)...»	38
Игра	39
СУДЬБА ДАЁТ РОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДКОВ	43
«...Судьба даёт родителей и предков...»	44
Чернильница деда	45
Зеркало	50
«...Когда душа рвалась от боли...»	52
И. А. Гончарову	53
У края	55
«...Не вспоминал я детство в сорок...»	57
«...У Бога милостей не счесть...»	59

«...Всё бурее листва...»	61
Женский пол	63
«...Сколько глупых, нелепых страниц...»	64
«...Детерминизм имеет место...»	65
«...Старик, российский скарабей...»	66
«...Как многое мне было не дано!...»	67
«...Вот проснусь и увижу...»	68
«...Баллада о чёрном карандаше...»	72
«...Мне однажды приснится, что я взаперти...»	74
Дочери-монахине	75
«...Сколько раз я бывал неправым!...»	76
«...«Остановка "Северный Венец"»...»	77
«...Будильник прозой прозвенит...»	79
«...Заболоцкая грустная нежность души...»	80
«...Неохота, но что поделаешь...»	81
«...Как хорошо легонько приболеть...»	82
Четыре «П»	83
«...Неужто за нос водит нас природа...»	84
Матушке Магдалине, 29. 07. 2010	86
«...Вы – человек большого сана...»	88
Ильдусу Сибгатуллину	90
Памяти Ильдуса Сибгатуллина	91
«...В подвальчике под «Детским миром»...»	93
Ода пивной	95
Сон адмирала	97
«...Картофелину сдабриваем солью...»	98
«...Господи, как красиво...»	99

НЕ МНЕ ОСУЖДАТЬ	101
«...Не мне осуждать великана-царя...»	102
Василий Блаженный	105
XIX век	109
«Ах, Александр...» (сетования дилетанта)	111
Размышления скептика о Д. В. Д.	114
Август Шодэ	117
Вторая половина девятнадцатого	120
Возвращение Одиссея (вариант)	121
Дагерротип	122
Боевой восемнадцатый	124

На темы Бичевской	125
Спор шестидесятих годов	126
«...Идёшь навстречу колющей метели...»	128
Письмо с фронта	131
«...Мы – дети обесчещенного века...»	133
«...Не надо упрощать явления природы...»	134
Смольный	135
«...Всё мне кажется, что Кваренги...»	136
 БУДЬ ХОТЬ ТЫСЯЧУ РАЗ ВОСПЕТ	139
«...Будь хоть тысячу раз воспет...»	140
«...Безветрие. Дымами кружевными...»	141
«...Чёрный шмель с золотым ободком...»	142
Снежный день	143
«...И снова запустил с утра...»	144
Зарисовка	145
«...Лежит усталая собака...»	146
«...Жестчает время день ко дню...»	147
«...Одуванчики начисто сдуло...»	148
Снегопад	149
Лето 2010-го	150
Декабрьское утро (вид с 18-го этажа)	151
«...Как ни штурмуешь словаря редут...»	152
Зимой	153
«...Коль ночью не даёт уснуть тревога...»	154
«...Утро раннее. Солнце, блистая...»	155
«...Идёшь, не ждя особого подарка...»	156
«...Солнце жарит, не зная простоев...»	157
О плюсе минуса	158
Берёзка	160
Монолог правдолюбца	161
«...Я спокойно тарашусь на телек...»	163
Снегопад	164
«...Есть отличный проверенный способ...»	165
Луна	166
Ночь	168
«...Декабрь как декабрь, и морозы крепки...»	170
Шуточное (философское)	171

РУКА СУДЬБЫ	173
Отрывок из поэмы «Михайловское» (1)	175
Отрывок из поэмы «Михайловское» (2)	178
«Гаврилиада»	182
«Медная бабушка»	184
Меню Пушкина	189
Рука судьбы	191
Натали	195
4 ноября 1836 (первый вызов)	202
Слова Пушкина	203

БЕСЕДА С РАФАЭЛЕМ	205
Врубель	206
... То реализм топили, то спасали,	208
Беседа с Рафаэлем	210
«Демон поверженный»	212
Портрет Брюсова	214

СТУДЕНТ И ВРУБЕЛЬ	217
Студент и Врубель. Документальная полупоэма	218
«...Конец пятидесятих. Град Москва...»	221

ПАМЯТЬ	237
Алле Бабичевой	238
Г. Дёмину	240
А. Дягилеву	242
Ю.И. Куликову	244
И.В. Лежнину	246
Н. А. МАЛИНИНУ	247
А.И. Маркелычеву	249
Григорию Медведовскому (в связи с выходом книги «Пришла пора поворошить архивы»)	251
Н. Мерзликину	252
«...Вишнёвый сад не вымерз Ликин...»	252
Ю.В. Павлову	253

Лев Николаевич Нецветаев

СТЕЛА

Стихи

Издательство «Корпорация технологий продвижения».
432012, Россия, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9а, оф. 1.
Тел./факс: (8422) 38-79-08. E-mail: ktpbook@yandex.ru.

Ответственная за выпуск Винник О.К.
Редактор-корректор Егоров К.В.
Художественный редактор Василькин Н.А.
Компьютерное обеспечение издания Долговой Т.Е.

Отпечатано с электронного файла издательства
в АО «Областная типография «Печатный двор».
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27.
Тираж 300 экз. Заказ №